

у л ь я Н О В а



Ч У В С Т В О М О Р Я

«Улья Нова – из редких счастливиц, кому обретение собственного стиля далось легко, в юности... О чем бы она ни писала – в ее повестях, рассказах и притчах слышится то рассеянное в мире бунинское легкое дыхание, которое и есть одна из тайн настоящей литературы».

**Леонид
Юзефович**

Изысканная проза

Улья Нова

Чувство моря

«ЭКСМО»

2018

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

Нова У.

Чувство моря / У. Нова — «Эксмо», 2018 — (Изысканная проза)

ISBN 978-5-04-096507-6

Роман «Чувство моря» – это прежде всего история о надежде. О море, которое исцеляет от грусти, боли, несчастной любви и страха смерти. Это история о непостижимой силе, что проявляется в нас и действует через нас, чтобы спасти ближних и самих себя. Это история о людях странных и немного чудаковатых, влюбленных и одиноких, которые однажды понимают, что выход к морю – это единственный и самый верный выход для них.

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-04-096507-6

© Нова У., 2018
© Эксмо, 2018

Содержание

Часть первая	6
Глава первая	6
1	6
2	6
3	9
Глава вторая	15
1	15
2	18
3	24
4	27
Глава третья	32
1	32
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Улья Нова

Чувство моря

© Улья Нова, 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

Часть первая

Глава первая

1

Осенью, почти в любую погоду, капитан выходил на мол, подставлял лицо пощечинам ледяного ветра, чтобы еще разок, еще отчетливей почувствовать его влажную колкую чешую.

Будто предвидя скорую перемену в жизни, с жадностью дышал морем.

Провожал придирчивым взором отплывающий катер береговой охраны, ярко-красный, тревожащий на фоне пасмурной смеси моря и неба.

Выбирал булыжник, похожий на отполированный волнами череп ящера. Кое-как отрывал от земли, прижимал к груди, поднимал вровень со лбом, хотя бы пять раз.

Присматривал, как чайки снуют над суровой водой, отдавшись переменчивой воле воздушных потоков. Знал наизусть каждое их движение и все равно не мог наглядеться.

Прогуливался вдоль мола к северному маяку. Приглядывал за рыбаками, что таились за бетонными волнорезами в зеленых и синих дождевиках. На его глазах ни разу не клюнуло. Ни одна рыба, умелым рывком извлеченная из вод, не подмигнула ему кольчугой чешуи, не сбила ему дыхание, подтолкнув сердце с каждым ударом биться вдребезги. Возможно, эти притихшие призраки в дождевиках на самом деле целыми днями заворуженно наблюдали море. Забыв про удочки, часами глядели вдаль, не надеясь увидеть там ни паруса, ни парома. Все как один замерли, подставив лица взволнованному простору, дожидаясь, когда же море пробьет брешь, хлынет внутрь и затопит собой все совершенное и не случившееся.

В редкие дни, когда не накрапывал дождь, капитан пыхтел пружинистой трусцой в сторону Сварливой скалы. На пустынном пляже любил иной раз повисеть на турнике, из тех, что на октябрьском ветру превратились в продрогшие скелеты-напоминания о летнем оживлении городка. Ухватившись за ледяную перекладину, покачивался не больше минуты, всматриваясь в свинцово-неулыбчивое пространство, равномерно и величественно, как поступь Бога, накидывавшее на берег волну за волной, волну за волной с перепутанным кружевом пены.

Иногда замечал вдали одноногого моряка, который хромал по кромке волны, заваливаясь набок в скрипучем протезе. В мятой штормовке, всегда без шапки, с растрепанными на ветру серыми клоками волос, одноногий моряк каждый день приходил к морю молчать. Он кивал капитану издали, махал ему рукой, но никогда не подходил. И продолжал упрямо стоять на мокрой полосе песка, придирчиво вглядываясь вдаль волн, будто с минуты на минуту ожидал оттуда условного гудка или выстрела. Вполне возможно, этому суровому человеку тоже было необходимо убедиться, что море – на месте. Его единственное, его собственное море, которое никогда не врет и все время меняется, при этом оставаясь неулыбчивым и неизменным. Украдкой наблюдая одноногого моряка, капитан думал о том, что в жизни человека на самом деле есть всего один выход – выход к морю. А все остальное – ложные пути, фальшивые двери, фантомные выводы и самообман.

2

Растрепанная, в мокром халатике, изорванном в лохмотья во время трехдневного буйства в бухте, Алевтина опять одиноко мечется по берегу. Давным-давно распугав людей и чаек,

неторопливых прибрежных лебедей и мерцающих на отмелях мальков, Алевтина пинает на пляже пластиковые бутылки, подгнившие ветки и кочки песка. Иногда она всхлипывает и завывает, утирая ладонью сопли и слезы. Наедине с встревоженным морем и басисто гудящим за спиной приморским парком Алевтина разговаривает сама с собой, приглушенно грубит сквозь зубы. Снова рассвирепев, выкрикивает бессвязные угрозы. Сплевывает на песок. Повернувшись в сторону городка, сурово поджимает губы и грозит кому-то большим белесым кулаком.

Потом, в один какой-нибудь миг, обессиленная Алевтина опускается на выброшенное из моря почерневшее бревно. Или со всей силы грузно обваливается на осыпанный дождем и хвоей песок. Хватается руками за голову. Запускает толстые грязные пальцы в перепутанные патлы. И сидит неподвижно, рассматривая случайный слюдяной камешек, раковину или синюю крышечку от бутылки. Тем временем штормящее море медленно успокаивается. Утомившиеся волны на глазах опадают. Злой ледяной ветер с растопыренной чешуей, споткнувшись в полете, неожиданно зависает над полоской пляжа, будто засмотревшись вдаль. Туда, где несколько храбрых чаек кружат над южным молом, выхватывая из вод оглушенную штормом рыбу. Или туда, где полчаса назад на вершине Сварливой скалы сосны качались из стороны в сторону, из всех сил цепляясь крючьями корней за камни, угрожая обвалиться, утянуть за собой увесистый валун, разбудить оглушительный камнепад.

Обессиленная Алевтина долго сидит на берегу, не замечая, как свинцовое небо дня проясняется, попутно укутываясь в бледно-розовые и пепельно-лиловые вуали заката над смирившимся, неохотно выздоравливающим после трехдневного шторма морем.

Ночь разливается повсюду. Разбрасывая по небу свои черные корабли, ночь сменяет холодом и тьмой Сварливую скалу, южный мол и приморский парк. Ночь воцаряется на берегу и над волнами, изредка пронзаемая отсветами фонарей городка, оранжевыми вспышками южного маяка, редкими синими искрами северной смотровой башни, тусклыми прожекторами кораблей и паромов – там, вдали. Окутанная долгожданной теменью, растрепанная и поникшая Алевтина обнимает себя руками за плечи. И нехотя плетется в сторону соседней бухты, на мутный свет прожектора геологической станции, всхлипывая, завывая, порывисто шлепая босыми ножищами по ледяному бархату песка, по самой кромке волны.

Продавец рыбы на набережной (вокруг грязно-оранжевого шатра вечно крутятся настырные чайки, несколько прожорливых альбатросов и вконец обнаглевших уток) зачерпывает из лотка хрустящую жареную мойву и ловко высыпает в промасленный бумажный кулек. Качая головой, он хмыкает, что безудержная дамочка Алевтина наведывается сюда неспроста. Кто-то у нее в городке есть. Что-то с ней здесь стряслось. Непоправимое. И уже довольно давно. Одним словом, любит она кого-то. Уходит, всеми силами пытается его забыть, развеять над прибрежными скалами свою грусть. Но прохватило ее крепко этой любовью. Ни вырвать, ни выполоть, ни выплакать – вот какое сильное чувство. Поэтому она и возвращается сюда, в городок, не в силах это перебороть. Ненаглядный здесь у нее, тянет ее к нему, как же можно такое не понимать. Тут надо бы не осуждать, не ругаться, – пришепetyвает продавец рыбы, поправляя съехавшую на глаза серую вязаную шапку, – а жалеть и сочувствовать. Может быть, тогда она смягчится. Может быть, почувствовав сострадание, одумается и немного уступит. Тут он считает нужным вручить кулек с рыбой, ухватить монетку и задумчиво умолкнуть, чтобы было слышно, как лодки и яхты с ворчливым скрипом покачиваются на волнах возле причала паромов.

Одноногий моряк, по-видимому, знал про Алевтину много всякого. Никого не удивляло, что он называл ее грубовато и насмешливо, по-свойски: Алька. И частенько поддразнивал то шалопутной, то вертлявой. Сипло усмехался: «Сучка-Алька опять забросила наши места. Ходит теперь к эстонцам, к финнам, с ними шалит». Объяснял, что бесится она потому, что

приданого у нее нет. Все утопло в море, все растрчено на шальную жизнь, все ее кружева, все жемчуга и туфли. Нет у нее за душой ни гроша. Кому она такая нужна? Кто ее такую полюбит? С ней теперь только моряки и тешатся. День, неделю, три месяца погуляют, обживут ее. А потом бросают, как обычную портовую девку.

Одноногого моряка часто видели на берегу. Иногда он часами пристально наблюдал за линией горизонта, шурился на возникшие там черточки паромов, не замечая, что давно промочил в набегающих волнах и ботинок, и протез.

Бряцал по городку слушок, будто одноногий моряк всегда высматривает на море одному ему известные знаки, наблюдает за поведением чаек, разглядывает облака. Ждет он свою Алевтину. Просто виду не подает, что скучает по ней. Что-то между ними было. Что-то между ними стряслось. Только вот теперь никак не могут они повстречаться, всеми силами судьба их разводит. Поэтому одноногий моряк так отчаянно грубит и отшучивается, когда речь заходит об Алевтине. Или смеется напоказ, запрокидывая голову с безгубой ухмылкой и щербатыми почерневшими зубами. А сам-то все ждет ее. И приходит к морю почти каждый день – помолчать, послушать, поглядеть вдаль.

Хозяин маленькой пекарни, где самые вкусные в городке и всегда теплые улитки с корицей, уверял, что с госпожой Алевтиной давным-давно случилась в этих местах неприятность. Еще молодая, шаловливая, с легким дыханьем, нагрянула она как-то раз в городок покутить. Шлялась по барам, по кабакам, каждый вечер гуляла с разными молодыми матросами. Разрумяненная. В перламутре и кружевах. В бусах из крупных жемчужин, что обвивали ей шейку, а второй длинной ниткой, завязанной в крупный узел, позвякивали по упругому животу.

Хохотала. Курила. Пила темный ром Алевтина. Да только вот потеряла где-то в угаре, в сумерках, серебряную, чеканную свою сережку в форме сердечка. И с тех пор что-то произошло. Так бывает. Не вдруг, а день за днем маленькие безнадежности разрастались, случайности множились и, в конце концов, можно было сказать: перестало ей везти в любви. Стоило только Алевтине обратить на кого-нибудь внимание, выделить из оравы гогочущих в баре моряков одного-единственного, стоило прижать его к сердцу, хотя бы шепотом в ночное беззвездное небо назвать своим, он тут же переставал замечать ее, даже не смотрел в ее сторону. Он скоро совсем заболел заснеженной дорогой, терялся среди зимних полей, удалялся прочь. Не желая верить и принимать, что она теперь безбрежно и окончательно нелюбима, при любой возможности Алевтина навещала в городок, металась по набережной, буянила, свистела, безутешно разыскивая свою серебряную сережку. Чеканную. В форме сердечка. Но каждый раз безуспешно. Каждый раз зря.

А разве ее убедишь, что не в сережке дело? И как ей объяснить, что однажды она совсем утратила нежность, в один миг разучилась уступать и смягчаться, получив взамен из мутных глубин моря бескрайнюю ярость и силу. С тех пор, явившись в городок, от души крушила Алевтина все на своем пути. Четыре ветра врывались вместе с ней в приморские улочки, бешено трепали развешанные во дворах простыни, гнули рябины, ломали флагштоки в порту, смахивали черепицу с крыш, раззадорившись, тащили за собой футбольные ворота, выломанные поручни, сорванные ставни. И металась в проулках, увлекая в вихрь объявления, фантики и перья чаек.

Старые рыбаки знали наверняка. А некоторые хоть раз в жизни да видели воочию: однажды четыре ветра, четыре седых прародителя мечущейся по миру стаи многоликих ветров, слетаются из разных концов света к самой середине моря и изо всех сил сталкиваются над сверкающей глубиной, затаившей живых и мертвых.

Некоторые моряки видели хоть раз в жизни, как четыре ветра, не в силах перебороть друг друга, начинали медленно кружить над самой серединой моря. Все быстрее, в безудержном

хороводе, дожидаясь, когда госпожа Алевтина проснется и выплывет на поверхность из мерцающей расплавленным зеркалом толщи вод. Иногда случалось, что долго кружились четыре ветра, дожидаясь, когда же она вырвется из темной глубины, затаившей скелеты парусников и рыболовецких траулеров, черные рогатые мины, деревянные лодки, распавшиеся останки человеческих и рыбьих тел, усопших чаек, навеки сдавшиеся дну души. Присвистывали четыре ветра все яростней, завывали все настойчивей, выкрикивали все злее, до тех пор, пока Алевтина не выныривала на их зов из огромной бурлящей воронки, каждый раз будто рождаясь заново.

Нетерпеливая и безудержная, с развевающимися черными патлами возникала из вод Алевтина. Крутобедрая и грудастая, в коротком сарафанчике цвета закатных, утопающих в волнах туч. Заразившись весельем и яростью, поддавшись приглашению четырех древних как мир ветров, пускалась Алевтина в пляс на самой середине моря, перебирая крепкими ножницами по тяжелой, бурлящей, пробудившейся воде. Самозабвенно кружилась, разведя белые ручищи в стороны, гикая и хохоча, запрокинув голову, всматриваясь в небо в самом центре хоровода ветров. Долго плясала и кружила она, осыпая все вокруг вихрями сверкающих брызг. Начинала чувствовать голову пустой и пьяной, а тело звенящим, омолодившимся, разогретым. А потом, исступленно разбив кулачищем хоровод ветров, растрепанная, взмокающая и яростная, направлялась госпожа Алевтина к берегу. На оранжевый огонек южного маяка шла она. На синий сбивчивый отсвет северной смотровой башни. Устремлялась к невидимой с середины моря полоске земли, что упрятана в сиреневую дымку.

Найдутся в городке несколько моряков, которые видели собственными глазами, как торжественно и грозно шествует Алевтина по суровой воде, увлекая кружиться в вихре волны и чаек, водоросли и сонных рыб.

Каждый раз приближалась она к городку с грохотом и воем, баламутя море, взвывая из глубины спутанные пучки тины, обрывая тросы буев, путая тропы паромов, переворачивая катера, поднимая со дна вихри спящих там камней, почерневшие бревна, человечески кости, глиняные черепки, перламутр и янтарь, глину и муть.

Неугомонные сквозняки свистят в волосах Алевтины. Спина у нее широкая, бедра у нее крепкие, зад дородный, руки хваткие, пальцы на ногах короткие, с квадратными ногтями. Вся она – сила и свист, гнев и вихрь, грохот и шквал. Пахнет Алевтина илистой гнилью водорослей, перестуком ракушек, слизью плавников, мокрым прибрежным песком. Окутана Алевтина клоунами пены, ржавчиной вросших во дно корабельных винтов, сумерками, разбитыми часами у причала паромов. А еще – миллионом тусклых камешков, что рассыпаны по берегу и готовы обернуться от одной-единственной волны в самоцветы.

3

Капитан возвращается из столичной больницы на дребезжащем рейсовом автобусе. Припав пылающим лбом к ледяному стеклу, недоверчиво созерцает сквозь пунктуацию дождя тщательно перепаханые, прибранные будто перед похоронами поля. Стараясь отвлечься от больничных мыслей, тянущих в груди пушечным ядром, он обманывает себя, с поддельным брюзгливым интересом разглядывая домики фермеров, отработавшие осень и теперь впавшие в спячку трактора. Смотрит и не различает кустики, трепещущие на ветру остатками бурокрасной листвы, разделяющие владения бледные ряды тополей, монотонно-прозрачный сосновый лес. В другое время и при других обстоятельствах придорожные пейзажи, перепаханые и притихшие просторы приворожили бы его, заставили забыть. Но не сегодня. Смущенный затхлым запахом мази и усталостью мятой пижамы, капитан спускает больничный пакет на пол и нетерпеливо заталкивает его под ноги, с глаз долой.

Редкие величавые холмы, домики с безмятежно струящимся дымом, все же оказались слабее видений последнего месяца. Что эти тускловатые и умиротворяющие сельские картинки в сравнении с вонзившимся в вену шприцем для внутривенных инъекций? Шнур капельницы покачивался на фоне бледно-голубой стены, в нем ни в коем случае не должно было случиться пузырька воздуха. Прозрачные завитки со струящейся внутри жидкостью накрепко приковывали взгляд. На тумбочке – ворох листов, испещренных занозистыми зубцами кардиограммы. Пальцы медсестры с перламутровым лаком на птичьих коготках ровно в полдень становились белесыми, изо всех сил вжимая поршень шприца.

Пожилой доктор Ривкин (седые усы казались накладными и с каким-то настоящим жизнелюбием пахли одеколоном), доверительно понизив голос, с умышленной неторопливостью изрек, что во внутренностях капитана обнаружилось что-то вроде глубоководной мины, пусковой механизм которой начал было стремительный обратный отсчет. Но капельницами, уколами, таблетками и порошками обратный отсчет зловредного образования удалось замедлить, можно сказать, почти приостановить. В настоящее время опасности для здоровья не наблюдается.

Капитану не понравились сбивчивые полутона «можно сказать» и «почти приостановить». Они досаждали, не давая полного покоя. Будто дождь, пробившийся сквозь течь в крыше, эти слова все время капали невдалеке, не позволяя ни на чем сосредоточиться. Перед выпиской капитан задумал освободиться от неожиданно вторгшегося в жизнь неудобства. Намереваясь хитровато выпытать, как обстоят дела на самом деле, он купил в вестибюле больницы корпуса жестяную коробку рождественских печений, перевязанную беспечной золотой ленточкой. И, хоть до Рождества оставалось почти два месяца, решительно направился поздравлять врача с наступающим.

Благодаря правильно выбранной тактике: подношению и просчитанному добродушию, в ординаторской капитану предложили чай в кружке с отколотой ручкой и угостили пересоленным капустным пирогом, оставшимся после именин медсестры. Разговор рассыпался, разлетался в стороны, скатывался к незначительному. И все же он трижды переспросил: «Доктор, скажите прямо, мне к правде не привыкать. Я десять лет командовал портом, до этого много лет ходил с рыбаками в море. Однажды сеть нашего траулера «Медный» накрутилась на винт. Шесть часов ждали спасателей. Каждый молился всему, во что верил. И еще мы тогда обращались к близким, надеясь, что они там, на берегу, это почувствуют. И они почувствовали. И нас в итоге спасли. Не с таким справлялись. Всегда выплывали. Поэтому давайте мы с вами сегодня без мути. Скажите прямо, как на самом деле обстоят дела: почти приостановлен или только замедлен этот чертов пусковой механизм?»

Трижды среди пространных рассуждений и бывалых врачебных шуточек капитан пытался уловить хоть намек на надежду или указатель безысходности. Но врач юлил, дружески похлопывал его по плечу и незаметно переводил разговор на погоду: «Зима в этом году обещает быть снежной. Я слушаю прогнозы каждый день. Говорят, зима придет позже обычного. Хорошо, если под Рождество выпадет снег. А то будет, как в прошлый раз, дождливая новогодняя осень... Все в ваших руках, капитан! – неожиданно выпалил доктор, выхватив увесистую перьевую ручку из нагрудного кармана халата и тут же нетерпеливо приладив ее обратно. – О трубке и этих ваших папиросах придется теперь забыть».

Капитана обжигало обдало не то разлукой, не то гнетущей вселенской несправедливостью. Он понял – жена пожаловалась. Она, его Лида, при первой же возможности сдала с потрохами. От этого внезапного открытия капитан превратился в безбрежную темно-синюю обиду, без просвета, без единого смиренного островка. Таким он прожил почти минуту: раздувая ноздри, ощущая горлом душащий ворот рубашки. Потом возмущение кое-как утихло, почти отпустило. Тем более что доктор Ривкин принялся рассказывать о какой-то благотворительной затее. Большую часть его неторопливых рассуждений капитан упустил. Но примерно

к середине он все-таки взял себя в руки, даже добродушно кивал, делая вид, что с интересом внимает. Через полминуты у него не осталось сомнений: доверительный рассказ доктора о благотворительном проекте больниц – не иначе как слишком прямолинейный намек. На то, что капитан безнадобен. Зачем еще лучшему врачу столичной больницы, ученому с мировым именем в области сосудистых анастомозов, пятнадцать минут рассуждать о каких-то больничных письмах и настоятельно уговаривать капитана присоединиться к этой затее? Видимо, пусковой механизм злобного образования приостановлен условно. Совсем ненадолго. В прострации оглушенного капитан диктовал адрес служебного почтового ящика в порту. Индекс, город, улица, капитану траулера «Медный». Этот ящик он не проверял, наверное, лет десять. И не собирался заглядывать в него уже никогда.

– К тому же вот вам хороший повод для прогулок. Почаще ходите к морю и не забывайте проверять почтовый ящик, – жизнерадостно подытожил доктор, и капитану тут же захотелось принять сильное рвотное, чтобы поскорее выблевать из памяти весь этот день, весь без остатка.

Однако по-больничному покладистый, утихший и вразумленный, он все же купил в дорогу пакетик леденцов. Уложил его в карман куртки с какой-то новой суетливой прилежностью. И теперь сосредоточенно перекатывал приторную вишневую конфету за щекой – именно так доктор Ривкин советовал отвыкать от трубки и папирос. От электрической сигареты старательно отговаривала санитарка Астра:

– У племянника фальшивые сигареты только крапивницу вызвали, а желания покурить не отбили. Сестра жалуется, что после них парень еще больше курит. Травкой начал баловаться. Но тут уж виновата не электрическая сигарета, а его новые дружки из шиномонтажной мастерской, – ворчала необъятная Астра, как умелый больничный автомат, скидывая на пол, в общий ворох, отслужившее белье капитана: пышущую жаром простыню с розовыми полосками, скомканную наволочку с мутным орнаментом из незабудок, которые еще долго будут мерещиться перед сном, вызывая томящую нутро тяжесть. Слушая ее вполуха, капитан с досадой разглядывал мятую кучу тряпья, мусорный пакет с каждодневными отбросами – вот и все свидетельства его затянувшегося пребывания в больнице. И еще он подумал, что точно так же от него однажды останутся отбросы, заношенные вещи, усталая утварь. Начатые телефонные книжки. Поломанные очки. И больше ничего...

Ковыляя к автовокзалу на непривычно расшатанных, набитых опилками ногах, он панически норовил ухватиться: за натертый до блеска поручень лестницы, за ледяной барьер велосипедной парковки, за пластиковую стену торгового центра, похожего на кубик Рубика. Его как никогда будоражили, выводили из оглушенного больничного покоя уличные гудки, окрики, полосатые шарфы, вспыхивающая на экране реклама кошачьего корма, бегущая строка автовокзала. Будто слепец, он зачем-то ощупал дверь остановившегося на светофоре такси. Ухватил за рукав старичка в выгоревшей парусиновой куртке. Брел наугад, огибая спешащих утренних служащих. Пытался подслушать затаившуюся в глубине внутренностей глубоководную мину. На каждом шагу прояснял, как обстоят дела с ее пусковым механизмом: продолжает он неукротимый обратный отсчет или эти капельницы и порошки все же заставили его приостановиться на время? Интересно, на какой именно цифре им в больнице удалось замедлить или временно оттянуть злокачественный процесс? Вдруг на крошечном экране мины дрыгается алая пятерка? Или мигает тройка. Подвернешь невзначай ногу. Не рассчитаешь тяжести, набрав лишние пять килограммов картошки на рынке. Примешь слишком близко к сердцу трамвай, разукрашенный рекламой ток-шоу. Сорвешься, накричишь на медлительного красавчика из магазина мобильной связи. И маленький латунный шарик неожиданно потеряет равновесие, перекатится на рычажок, подтолкнет крутиться колесики и шестеренки, возобновив неумолимое утрачивание, истощение, истончение, стремительное движение к концу.

Готовый скулить без сигареты и плевать леденцом, обмазавшим рот приторной вишневой слизью, капитан смотрит в окно и не видит проносящиеся за стеклом речушки. Опавшие листья, взметенные придорожным сквозняком, мерцают вдоль обочины желтым и бурым, кажутся клочками изъеденных огнем больничных бумаг. Зачем-то почудилось и через секунду стало несомненным: чертов автобус не доедет сегодня до конечной остановки, по дороге стряется что-нибудь страшное. Непоправимое. Жена его больше никогда не увидит. На этом точка. И черная кружевная скорбь.

Снова сорвавшись, затосковав от мрачных предчувствий, разыскивая повсюду тайные подтверждающие знаки конца, капитан смотрит на усыпанное пунктирами дождя стекло и не видит за ним завиток окружной магистрали, мятые декоративные капуста, стриженный можжевельник придорожных клумб. Он смотрит и не чувствует полуденный покой двух гнедых лошадок, нахохленный домик фермера, звенящий прозрачностью сосновый лес. От напряженного вслушивания внутри что-то начинает тянуть и как будто тает каждую секунду, усиливая слабость. Капитан не может понять, как ему теперь быть с подсмотренными в больнице картинками правды, которая назойливо зияет, пересиливая настоящий момент, ослепляя своей нищей истощающей ясностью. Куда девать настырный, прокравшийся под кожу запах приторной овсянки, перемешанный с хлоркой утренней дезинфекции? Как быть, куда нести, на что употребить удушливую тишину палаты после того, как ночью в реанимацию, а потом в морг перевезли соседа, добродушного болтливового толстяка в клетчатой рубашке с закатанными рукавами. Мимо больничного забора все время спешили люди. Празднично-беспечная связка свадебных шаров запуталась в проводах между корпусами и моргом. В один из больничных дней капитан минут десять пристально наблюдал яростные попытки ветра вырвать и унести этот увядающий букет в мутно-серое небо. Именно тогда, без предупреждения, перед ним распахнулась бездонная пропасть, возникла и воцарилась безучастная быль сама по себе, без его обязательного и неотъемлемого здесь присутствия. Притягательный и истязающий мир, существующий независимо, осуществляющийся спонтанно, от предчувствия которого уши закладывает и сердце рушится в лишенную смысла пустоту. Но стоп, нельзя нервничать, нельзя провоцировать пусковой механизм чертовых внутренностей. Эти печали, обдуманные по десятому разу, наскоро спутанные в замусоленные клубки, вот уже несколько дней тяготят, не дают ни на чем сосредоточиться, наливаются в груди черным якорем, вроде тех, что внушительно громоздятся вдоль главной аллеи приморского парка. Становится нестерпимо, омерзительно, невозможно. Капитан как никогда осознает себя запертым в западне изношенного тела, своих лет, своего прошлого. Воротник рубашки душит. И больше нет сил как следует, широко, свободно вдохнуть.

Автобус несется мимо полей с седеющей травой поздней осени. Через проход девица в бордовой шапочке с орнаментом из оленей прилежно царапает печатные буквы в кроссворд. Где-то впереди учитель обзванивает родителей отстающих школьников, громко призывая уделить внимание грамматике, ведь дело идет к рождественским каникулам и совсем скоро – итоговый диктант.

Автобус вырывается из сырого и прозрачного леса на открытое пространство – по сторонам дороги снова молчаливо и монохромно тянутся поля, перемежаемые тропинками, канавами, ручейками, разделяющими владения рядами тополей. На грудь капитана давит мраморная плита уныния, он еле дышит, он окончательно сдается, не в силах это выносить. Становится совсем неведомо: мутно, тягостно, тесно. Впереди угадывается лишь тупик обморока – такой знакомый провал в душную темноту. Именно в этот момент вдруг что-то происходит. Будто бы рвется леска. Одним махом все его смятение, теснота и немошь исчезают. Дыхание освобождается, как если бы распахнулась форточка в ливень. Сердце перестает ощущаться камнем,

потом перестает ощущаться вообще, как в детстве, впервые за долгие недели болезни. Будто по невидимому мановению руки он неожиданно получает отпущение всех своих прошлых и будущих грехов, неожиданную и оправданную безмятежность. Как если бы ему разом подарили все-сильную и щедрую индульгенцию, стирающую воспоминания, притупляющую предчувствия. Над верхушками молодых сосен в придорожном леске неторопливо и плавно кружит трехлопастный серебряный ветряк, знак близости моря и своры его порывистых многоликих шквалов. Оживившись, капитан тут же осматривается по сторонам, замечает поодаль второй. Третий. И еще вдалеке – четвертый. Он собирает ветряки, как свое разбредшееся по округе стадо. И все внутри трепещет нарастающим ликованием спасения. Именно так его душа всегда чувствовала море, переживала приближение к бескрайнему своему сородичу: молчаливо-задумчивому, убаюканному чайками, окутанному закатным туманом.

Гнетущие душу вмятины расправлялись, тяжесть отходила, и капитан жадно пил мутноватое небо с едва различимой горчинкой морской соли. Охотно забыв о пусковом механизме, о шприцах, о больничных креслах-каталках, он развернулся к окну, без остатка превратившись в пристальный, ненасытный, чуть прищуренный взгляд. Заметил на крыше придорожной автозаправки трех чаек. Понял, что сегодня до смешного ошибся предчувствием, до неузнаваемости приуныл, подгнил в больнице. Узнал наверняка, что доедет до дома целым и невредимым. И совсем скоро обнимет свою Лиду, шепнет ей на ушко, что все будет хорошо.

Засмотревшись на слитные, могучие движения ветряка, успокоенный и почти счастливый, капитан не прочувствовал, не успел разгадать, что едет по этой дороге из столицы в свой портовый городок в последний раз...

Несколько лет назад две румяные работницы рыбоконсервного комбината шумно ворвались в приемную, заболтали секретаршу, улучили момент и все же преподнесли ему копченого судака в промасленной воощенной бумаге. Одна из них заразительно хохотала и старательно прятала глаза под чуть влажной рыжей челкой. Капитан почему-то не решился нести подарок домой. Не хотел рассказывать жене, откуда взялась рыба. В тот вечер разразился сильный шторм с грозой. И они со зрителем укрылись от ливня и ветра в каморке-подсобке деревянного маяка. Этот старый маяк, застывший посреди лужайки судоремонтного завода, был похож на одинокого гордеца. Море постепенно отступилось от него, крадучись удалилось прочь, оставив заносчивого старца ошиваться на ветру в окружении списанных бакенов, прохудившихся лодок, подгнивших сетей, обрывков якорных цепей. Не желая мириться с тем, что он разлучен с морем и превращен временем в рухлядь, в призрак самого себя, в украшение газона, старый деревянный маяк при каждом удобном случае жаловался на судьбу.

В тот день они засиделись со зрителем далеко за полночь, изредка ненадолго умолкая, чтобы послушать скрипы и стоны здания, чтобы дать возможность старикану-маяку высказаться. Как если бы беседовали на самом деле они втроем. После череды тяжких поскрипываний и жалобных завываний ветра в винтовой лестнице, ведущей на обзорную площадку, зритель маяка поведал капитану о чувстве моря. Щербато улыбаясь, осевший в городке финн утверждал, что оно есть у каждого, кто живет на берегу. Чувство моря – неукротимая необходимость моря в жизни. Невозможность жить на равнине, на замкнутом в себе участке суши, окруженном полями и свалками, деревнями, дорогами и лесами.

С жадой заглатывая пиво из эмалированной кружки, запихивая в безгубый рот копченые косы рыбы, зритель маяков изумлялся: как же люди умудряются жить где-то там, в глубине равнины? Как они вообще дышат, отрезанные от берега, запертые среди лугов, высоток и автострад?

Капитан хорошо помнил, когда чувство моря впервые возникло. Спонтанно и неистово, как вспыхивает сильная обида, саднящая скорбь или любовь, не притупляемая годами. Он

помнил день в далеком детстве: родители везли его в Анапу, на тщательно спланированный, прописанный врачом отдых – поплавать и прогреться после тяжелой зимы ангин. Именно в то лето, в поезде, что-то внутри начало улавливать частоту моря, его затаенное дыхание, его ширь, говор и тишь. Как будто в самом центре груди возникла чуткая антенна, которая распознает море, где бы оно ни было, – с тех самых пор и по сей день.

Это ощущение повторилось с ним три года спустя, в день похорон дяди, младшего брата матери, бездетного учителя черчения, левое плечо которого вследствие прожитой жизни почти приросло к уху. В новом, недавно отстроенном столичном крематории, напоминавшем архитектурой алюминиевую космическую станцию, он замер у окна с уходящим к горизонту окраинным кладбищем и царившей над ним многослойной, надрывной тишиной. Прижав нос к стеклу, с испуганным любопытством скользил по рядам могил, листая их, будто огромную каменную книгу. Подмечал помпезные надгробья деятелей городской администрации, памятники похороненных на окраине актеров и генералов, не знавших при жизни и посмертно недостатка в средствах. Уходя вдаль, величественные плиты мельчали в туманной дымке, горбились и таяли под нависающим осенним небом. Убывали, плавились, переходя в насаждение черных и серых крестов. Постепенно перетекали в колючий кустарник чугунных оградок, обозначающих последнее укрытие, чей-то тесный приют. Лес крестов и оград упирался в безыскусные бетонные стены, в нескончаемый лабиринт, таивший многочисленные урны с прахом. Они располагались одна над другой, в строгом порядке аптечного шкафа со множеством замурованных ящичков, с тысячами разнообразных отзвуков дребезжащей насупленной тишины. И взгляд мальчика растерянно скользил по тропинке, уходящей вглубь кладбища, от мест захоронения знаменитостей и чиновников – в бесконечность мельтешащих, мельчающих, тихих имен и дат. И в какой-то момент чувство моря неожиданно напомнило о себе, распахнулось и защемило нестерпимо, безудержно, в самом центре груди.

Капитан знал с самого детства: море никогда не глядит на тебя, оно происходит безразлично и невозмутимо, обособленно, в своей вечности. И все же многие годы он ощущал это как тягу, как болезнь, как обреченность: безутешную недостаточность моря в жизни. Смотритель маяков утверждал: если такое произошло хоть раз, ты пропал, ты попал в западню, ты теперь привязан к морю накрепко. Ты никогда больше не будешь по-настоящему жив без него. В тебе воцарилась роза ветров. Тебя треплет в разные стороны свора яростных морских шквалов, переменчивых, безымянных. Неукротимых.

«Если чувство моря хоть раз возникло в самом центре твоей груди, – бормотал смотритель, не обращая внимания на то, что некоторые слова заглушают дождь и ветер за оконцем каморки-подсобки, – это значит, что однажды настанет день, когда ты перестанешь принадлежать себе». И вот ты уже обрываешь якорную цепь. Покидаешь дом своего отца, студенческое общежитие, тесную квартиру тестя. И вот ты уже плетешься мимо деревень и автозаправок, по однообразным, слившимся в утомительный путь полям, яблоневым садам и холмам. Почти бежишь со своим стареньким чемоданом, наобум, вслепую, нетерпеливо. По пути теряя зубы и волосы, вывихивая пальцы, ломая ногти, сбивая ноги в кровь. Оставляешь за спиной годовалого сына с его первыми веснушками и изумленно распахнутыми глазенками цвета темного янтаря. Выпускаешь, будто прирученную птицу, узкую ладонь дамы. Прибавляешь шаг и почти бежишь, стараясь не замечать косолапо плетущегося за тобой щенка. Не оборачиваешься, хотя так хочется обернуться на соседскую девушку в цветастом платье, груди которой похожи на вымя молодой козочки, а глаза – на потемневший от времени горный хрусталь. И ты расстаешься с плетеным креслом, с нависающим над яблонями балконом, с тихим переулком припаркованных возле кондитерской велосипедов, с ночным городом, мерцающим огоньками фонарей и витрин. Разлучаешься с домом, с покоем, с любовью, с вечностью, лишь бы наконец выйти навстречу своему морю. Зажмуриться, шагнуть на прибрежный песок и предоставить себя в объятия его ветрам.

Глава вторая

1

Тридцать лет назад он впервые приехал в городок на дребезжащем рейсовом автобусе, прочувствовав за три часа пути все мельчайшие неровности доски сиденья. Заранее изучив по карте центральную улицу и бульвар, разобрав по слогам ничего не говорившие ему тогда названия скверов и набережных, он усмехнулся: пять кварталов под мышкой – в те времена городок располагался между рукавом реки и морем. Подъезжая, автобус чинно тарыхтел по узким безлюдным улочкам. Вилял в наплывающих сумерках по брусчатке, мимо низких деревянных домов с распахнутыми и затворенными ставнями, от которых пахло чердаком, стоптанными сапогами и засохшими на подоконнике пчелами. Несмотря на усталость, он с любопытством вглядывался в незнакомые профили крыш, гадая, что это место ему предложит, чем наградит, что отнимет, чем заставит пожертвовать? Скользящие тут и там чайки, почерневшая от времени черепица, приземистые квадратные трубы, темные деревянные подворотни с забитыми окнами, каменные особняки в стиле модерн с покосившимися решетками балконов – все это сбивало с толку, лишая привычного добродушного безразличия.

В тот далекий день, но будто сегодня, выпускник мореходного училища с отпущенными для солидности усиками сошел с автобуса. Стройный, пожалуй, даже с избыточной выправкой, как будто к его спине прибили доску, он старался быть по-взрослому невозмутимым, но на каждом шагу по-мальчишески сбивался. Опустил набитый небогатыми пожитками чемодан на брусчатку привокзальной площади. Никто его не встречал, не ждал на автовокзале. Все тут было незнакомо, чудно по-своему: медлительное провинциальное время, намеренно уменьшенный масштаб магазинчиков, главной улицы, бульвара. Неторопливые прохожие в шляпах обитали в своем понятном, чуть замедленном мире. Во всем этом пока не существовало его жизни, его присутствия. Но в тот первый день, пройдя от станции до ближайшего перекрестка, он сразу почувствовал.

Этот момент врос в его память, стал им самим, его жизнью. Именно тогда он уловил запах деревянных улочек с заколоченными, затаившимися, ждущими чего-то столетними домами, на которых кое-где сохранились выцветшие вывески. Его хлестнул по щекам, потрепал за платье, взъерошил волосы незнакомый, шкодливый ветер. Капитан всю последующую жизнь исследовал составляющие этого шустрого городского сквозняка, насыщенного льдом, до немоты трезвящего, но не отбирающего надежды. В его порывах таился пятнистый дымок колбас, кур, лосося и мойвы, которые коптили к субботе, чтобы продавать на рыночной площади, в двух шагах от реки. В него вплетался веселый, хрящевой, костный дымок и аппетитный жареный выдох рыбоконсервного комбината. В нем виляла, мерцала, поблескивала горьковатая пурга от гор угля, сгружаемого с барж в вагонетки в старом порту, расположенном на том берегу реки. В этом ветре ощущалась горчинка моря, его широкое дыхание, одаривающее спокойствием, истребляющее тревоги. А еще – сырость подвалов заброшенных домов, превращенных временем в призраки, в пристанища кочующих цыганских семей, в ожидание, в оторопь. Тут и там, будто дразнящий девичий локон, мелькал аромат горячего шоколада, запеченных в тесте яблок – из затерянных в переулках кофеен и крошечных безлюдных кондитерских.

Постояв минуту посреди автобусной площади, капитан и сегодня, будто впервые, осмотрел привокзальные особняки, уловленные временем в сеть трещин, заметил новые площадные часы из синего пластика и шамкающий ступеньками магазинчик распродаж на углу. К некоторым из деревянных домов и особняков теперь накрепко, словно поросль ракушек, лепились

моменты и дни, события его жизни. Здесь было как всегда – размеренно и бесшумно. Как будто городок оберегала пробравшаяся сюда украдкой и затаившаяся в его темных подъездах, в его тесных окраинных дворах тихая неторопливая вечность.

В больнице капитан задумал отчаянный маневр. Пообещал Лиде, что придет завтра. Намеренно соврал, потому что очень хотел немного пройтись, постоять на набережной, все хорошенько обдумать. Казалось, если он побудет наедине с полуденными улицами, пройдетя у реки на леденящем ветру, то какое-нибудь решение обязательно возникнет. Как спасательный круг. Как маяк, указывающий путь кораблю. Он так поступил еще и в отместку, все еще обиженный на то, что Лида доложила врачу про его папиросы и трубку. Теперь капитан по-мальчишески ликовал от своего обмана, благодаря которому его не ждали на остановке. Не было суеты. Никто не причитал, не накидывал ему на плечи выцветший дождевик. Никто не выхватывал больничный пакет из его руки, лишний раз подтверждая, что прежняя жизнь запнулась, что сейчас, скорее всего, начинается последняя, закатная глава его существования. Благодаря обману он очутился в городке нелегально, блеклым призраком своего обычного здесь присутствия. Ничего не звучало вокруг, кроме тишины пустынных улочек и переулков. Кроме далекого шелеста колес по набережной реки, возле разводного моста. А небо здесь, как всегда, немного пахло копченым рыбным дымком, ледяным ветром и морским простором.

В заброшенном особняке напротив кинотеатра, на покосившейся темной лестнице подъезда голосили томящиеся бездельем цыганские дети. Издали заприметив сбивчивую поступь одинокого прохожего, беспомощно норовящего ухватиться за любую стену и столб, малышня притихла, столпилась у входа, на всякий случай жалобно вразнобой затяннув: «А подаааай нахлеееепь». Капитан смущенно выловил из пакетика горсть леденцов, расплескал шелестящими горстями в цепкие смуглые ладошки, на всякий случай избегая заглядывать в алчущие омутки глаз. И поскорей высвободился из голосистого водоворота детей, терпеливо отстранив из карманов шмыгнувшие туда ручонки.

Окна каменных особняков и деревянных домов, как всегда, подавали тайные знаки, предсказывали, предупреждали, перешептывались между собой выставленными на подоконники вещами. На фоне голубого тюля и невесомых шелковых занавесок тут и там мелькали громоздкие угольные утюги, превратившиеся в украшения, мерцали фарфоровые статуэтки кошек и лебедей, миражами распускались макеты каравелл. Будто на зов любопытного прохожего в каждом неприметном оконце проступал серебряный подсвечник, рождественский заяц, тряпичная кукла, чучело птицы, опустевшая золотая клетка, гипсовая статуэтка девочки с болонкой. Казалось, жители старинных особняков соревнуются между собой умением привлечь блуждающий взгляд прохожего, заставляя каждое оконце тревожить, утешать или кричать вдогонку. Во время прогулок в центральной части городка капитан никогда не обращал внимания на одни и те же окна. Каждый раз его взгляд случайно выхватывал что-нибудь новенькое: керамический горшок с вьюнком, статуэтку гончей из черного дерева, в другой раз – зеленую жестяную рыбу. Он не придавал значения замеченным предметам, ничего себе не выдумывал, лишь изумлялся их кроткой красоте и сочетаниям на подоконниках. Или же гадал, не является ли гипсовая Венера тайным знаком любовников или указателем, что в этой угловой квартире живет скульптор или вышедший на пенсию антиквар.

На этот раз его внимание привлекла фигурка в низком оконце темного трехэтажного дома. Капитан подошел ближе, его подбородок уперся в пахнувший жостью, тиной и дождем карниз. Там, на узком подоконнике, перед плотными синими гардинами мерцала хрупкая статуэтка худощавого человека с чайкой в ладонях. Крошечные чайки сидели на плечах, еще одна птица восседала на голове святого. Или чудака. Капитан запнулся. Он был встревожен и обра-

дован. Только сейчас он окончательно убедился и поверил, что выкарабкался, что справился, что все-таки вернулся домой.

Оживленный в летние месяцы городок, как всегда, стал по-осеннему прозрачным, застыл в ожидании зимы. В середине рабочего дня переулки были пусты. Никто не ждал автобуса у деревянной остановки, похожей на беседку из фильмов про старинные усадьбы. Никто не толпился у почтового отделения с выцветшей покосившейся вывеской. Ни старушек с собаками. Ни школьников, понуро бредущих домой. Ни одного велосипедиста, с тихим ржавым скрипом движущегося вдоль обочины. Рыночная площадь пустовала. Лавки были заперты. Между пустыми торговыми рядами сквозняк катал луковую шелуху. Только две закутанные в пуховики торговки пританцовывали на ветру возле недавно отстроенного павильона, рядом со своими венками, яблоками, рождественскими венками и букетами искусственных роз.

Пустующий осенний городок казался капитану похожим на декорацию, составные части которой долго и кропотливо монтировали. На тротуары насыпали кленовых листьев. Ставни заперли. Двери подъездов чуть приоткрыли, чтобы были видны скрипучие деревянные лестницы, затянутые паутиной, зазывающие в сумрак второго и третьего этажей. Трупна придет завтра. Съемки намечены на начало следующей недели. Декорация затаилась в ожидании. Только отрешенно скользящие над крышами птицы оглашали тишину жалобными скрипучими голосами.

Очень скоро капитан начал раскаиваться из-за своей затеи с прогулкой. Кажется, он не рассчитал сил, не предполагал, что настолько ослаб и утратился там, в больнице. Теперь он брел вдоль реки, подстраиваясь под ее неторопливое течение, ощущая костями свинцовый холод осенней воды. Он кое-как пытался мимо пришвартованных к причалам речных буксиров, катеров береговой охраны, экскурсионных корабликов, еле-еле переставляя дрожащие от слабости ноги. Огромная стая чаек, потревоженная его прогулкой, будто разбитая тарелка разлетелась серыми осколками по небу. Задыхаясь, капитан безвольным мешком обвалился на чугунную лавочку набережной. Не чувствуя рук и ног, весь в испарине, судорожно вытер лоб бумажным платочком. Через силу сделал глубокий вдох. Настырный, осмысленный выдох. Так его учили в больнице – основательно и глубоко дышать, чтобы жить. Это было унижительно и ничтожно. И все же он выполнял предписание с отчаянным прилежанием, не умея сопротивляться, еще не придумав себе ничего взамен.

Брусчатка начала медленно выкатываться из-под лавочки, в ушах звенели сиплые бубенцы, реку заволакивала сгущающаяся сизая дымка. Почти на краю обморока его неожиданно одернули и вернули назад портовые краны на том берегу реки. Похожие на ржавых пеликанов, они медленно и старательно сгружали на вагонетки бетонные плиты и огромные алюминиевые контейнеры. Они неторопливо ворочались на фоне голубого неба и портовых складов из серого кирпича, насыщая ветер оскоминой и скрипом. Увлеченный размеренными движениями вокруг сухогруза, похожего на огромную черную рыбину, капитан начисто забыл о пусковом механизме в своих внутренностях и перестал замечать свинцовую усталость, пожиравшую его ноги ниже колен.

В больнице он дал себе обещание, но на деле так и не смог сегодня дойти до моря. Там, в палате, прикидываясь задремавшим, чтобы не замечать старательную и суетливую заботу жены, он как безнадежно влюбленный рвался снова хоть мельком увидеть дельту реки, профиль порта, мол в туманной вуали, синий и оранжевый огоньки пропускных маяков. Он знал наверняка, что и на этот раз море будет сильнее, в один миг поглотит больничные воспоминания, от всего отрешит. Он и выкарабкался, вытащил себя из бездны благодаря вечному, никогда не притупляемому желанию: хоть на минуту, еще раз увидеть бескрайнее серебряно-свинцовое молчание, испещренное легкими волнами, отражающими облака в ожидании зимы.

Но теперь его ноги отяжелели, будто чугунные опоры моста. Тротуар снова пошатнулся, угрожая обернуться огромным каменным шаром. Охватила вселенская одуряющая тишина. До стыда захотелось больничной гречневой каши, хорошенько пропаренной, пересоленной, со сливочным маслом. Улочки вмиг потеряли лица. Изгороди, ворота, палисадники, крыши, кусты шиповника слились в утомительный и бесконечный путь к дому. Заколоченные и заброшенные бараки с выбитыми чердачными оконцами отступили, растеряв и утратив свои затаянные драмы. Или это ему от дурноты стало безразлично, кто в них жил, почему уехал отсюда? Больничный пакет отяжелел, словно кто-то украдкой подложил туда булыжник. Из переулка без предупреждения вырвался хамоватый ветрище, сорвал вельветовую фуражку и покатил по тротуару, будто тарелку. Капитан сник, смирился, постарался убедить себя, что ничего особенного не произошло. Ну, отправится к морю завтра, прямо с утра. Или послезавтра предпримет основательную прогулку, зайдет в канцелярию порта, потом заглянет к смотрителю, в каморку-подсобку старого маяка, превращенного временем в склад.

Миновав проулок трехэтажных деревянных бараков, которые летом сдаются внаем, а теперь временно заколочены и забыты, капитан свистел накатившей одышкой, будто закипающий чайник. На лужайке парка румяная дворничиха проворно сгребала отжившую листву в кучи, неулыбчиво пыхтя в громоздком тулупе и съехавшем до половины бульдожьего черепа платке. Хватаясь за сосновые стволы, он с торопливой брезгливостью оттирал с ладони смолу. Сбивчиво преодолел пригорок, рухнул на ледяную скамью остановки. Потом кое-как взобрался в дребезжащую маршрутку, к огромному своему облегчению не обнаружив в ней никого из знакомых. И через несколько минут уже подъезжал к дому.

На пороге он постарался встряхнуться, чтобы показаться не таким уж бледным. Он намеревался победно нагрянуть, приободрив жену неожиданным и самостоятельным своим прибытием. Он надумал подправить прогноз на будущее, все переписать в больничной карте, доказав Лиде и себе, что опасности нет и теперь все будет хорошо. Для этого он со всей силы придавил кнопку звонка. Трезвонил в дверь нетерпеливо и настойчиво, исполняя гимн окончательного выздоровления и освобождения из больничной неволи и небыли. Как раньше, как всегда, когда возвращался домой из моря. А сам с нарастающим трепетом надеялся подглядеть домашний мир и разведать, как там сейчас без него.

2

Непривычно растрепанная, пахнущая ментоловым карандашом от мигрени, в байковом бордовом халате до пят, Лида застыла в дверном проеме. Обнаружив на пороге капитана, запыхавшегося, бледного, в забрызганных по колено брюках, она вся немного сжалась, как будто была застигнута врасплох за чем-то запретным. Слишком пристально вглядывалась в его лицо, пытаясь вычитать адресованное ей одной послание по знакомой клинописи морщинок, пигментных пятнышек, оспин. И совсем неумело скрывала захлестнувшие ее тревогу и нежность. От ее буравящего взгляда капитан поежился, как если бы его без предупреждения привели в рентгеновский кабинет, заставили раздеться, накинули на плечи прорезиненный жилет, набитый свинцовыми брусками. И принялись просвечивать насквозь.

Лида так и сидела за столом, прикрывая рот ладонью: притихшая, запертая, зажатая со всех сторон. Натужно улыбалась. И смотрела во все глаза. Капитан по привычке слушал вполуха. Но все равно ворчливо подметил: что-то она слишком уж старательно и размеренно, как будто заготовив заранее, докладывает о поломке нагревателя в ванной, о ранних заморозках, изглодавших не выкопанные вовремя клубни пионов и георгинов. А старухе-соседке на днях все-таки предъявили штраф за воющего по ночам пса — кто-то из соседей пожаловался,

написал заявление. Теперь старуха подозревает всех подряд и уже три дня ни с кем не здоровается.

Чтобы немного растормошить Лиду, чтобы сократить распахнувшееся между ними заснеженное пространство, он спросил, как там дела на заседаниях кружка. Он и раньше так делал: улучив момент, осторожно расспрашивал про кружок. Каждый раз его неожиданный интерес вознаграждался радостью и оживлением. Как если бы с ним случилось долгожданное прозрение, пробуждение после вселенской темноты. Капитан всегда помалкивал, предоставляя Лиде возможность выговориться про кружок, потрепать без умолку о намеченной в декабре акции протеста у ворот мэрии, к которой они полгода готовились. Обычно он слушал рассказы о заседаниях как бы вполуха, хитровато потягивал чай, наискосок просматривал газету, а на самом деле дожидался, когда она разойдется и по рассеянности сболтнет, кто еще туда ходит, кто из знакомых в этой организации задействован. Позже, встречая на улице раскритикованных участников, капитан многозначительно ухмылялся. Пытался разгадать, что на самом деле подталкивает в кружок томную даму неопределенного возраста, чей фарфоровый профиль белеет в витрине магазинчика шляп, лунно мерцаая прохожим площади с кинотеатром и памятником. Что заставляет посещать кружок сторожа библиотеки, бывшего столичного хиппи по прозвищу Архангел Михаил с необъяснимыми черными дырами в биографии, который в пятьдесят так и не отважился отрезать хвост-напоминание о бас-гитаристе из далекого прошлого. Что влечет туда смотрительницу салона зеркал, смешливую шатенку с ямочками на щеках. Но если уж тайные причины этих людей можно было себе придумать, то пойдя, разгадай, распутай, что подтолкнуло участвовать в этой затее приземистого и угрюмого продавца колбас из крытого рынка, молодого учителя пения из местной гимназии и старушку-садовницу скверика возле набережной. Капитан все время ждал, но не решался спросить Лиду напрямик, посещает ли кружок его приятель, смотритель маяков. Скрытный финн за время знакомства не раз удивлял капитана способностью утаивать целые периоды своей жизни, неожиданно обнаруживая потайные ящички прошлого, будто шкаф, призванный до поры до времени утаить притихшие в секретных отсеках марки, бусины, лезвия, письма и потемневшие от времени гильзы.

Капитан постепенно сумел разведать, что кружок протестных вышивальщиц и отчаянных общественных кружевниц учрежден в городке лет пять назад. Узнав о появлении тайного ордена благородных рукодельниц, Лида беспрекословно поверила в его необходимость и сразу же примкнула. В юности она вышивала по схеме салфетки, вязала варежки и шарфы с орнаментами – матери и сестре к Рождеству. Тайком присоединившись к кружку, она долго и самоотверженно скрывала свое новое увлечение, выдумывая оправдания, почему задержалась на работе, куда отлучилась субботним вечером, где пропадала целый день рождественских каникул. Призналась приблизительно через год. За все время существования кружка она ни на миг не утратила воодушевления, не пропустила ни одного заседания, которые случались в разных местах и в разные дни, чтобы никто не смог выследить и нарушить покой собраний.

Капитан кое-как задним числом разведал, что зимой они собирались в пустующем классе гимназии, а летом – в заброшенной оранжерее. Как-то раз вышивали в радиомастерской, потом – в примерной концертного зала. В раздевалке бассейна. В столовой рыбоконсервного комбината. Как бесприютные, скрывающиеся любовники или мелкие заговорщики, убежавшие от преследователей, кружковцы постоянно меняли адреса. Внимательно изучив географию их тайных встреч, нетрудно было догадаться, что кружок посещают самые разные жители городка. Каждый из них придумывает, где бы собраться в следующий раз, подыскивает помещение. И скоро они снова все вместе вяжут и плетут кружева под неуловимый шепот вечернего снегопада, под шум ливня. Потом, среди ночи, несколько самых смелых активистов прикрепляют к забору мэрии кружевные салфетки и носовые платки с вышивкой, требующей закрыть лакокрасочный завод. В другой раз через центральную улицу городка натягивают плакат, буквы из разноцветных ниток призывают не мусорить в приморском парке. Иногда участники собира-

ются по субботам, возле центрального супермаркета. Раздают прохожим маленькие льняные салфетки, каждым своим стежком и узелком умоляющие прекратить уничтожение сосен возле эстакады, на въезде в городок.

Чтобы убедить Лиду в искреннем интересе к делам кружка, капитан изредка вручал ей бархатную коробочку с серебряной брошкой (недорогим, но долгожданным подарком), шутливо спрашивая: «А как поживает ваша мадемуазель Аморелла?» Затаившись, он с тайным удовольствием наблюдал, как озаряется Лидино лицо: на щеках начинают поигрывать задорные ямочки, в глазах мерцают давно угасшие мальки-смешинки. Она скидывала два десятка лет, становилась непоседливой и смешливой. Тараторила без умолку – бесхитростно, безбрежно. В такие минуты капитан снова переживал далекую волну тепла, некогда подтолкнувшую их друг к другу. Ему хотелось прошептать «родная». Но он ничего не говорил, а только сосредоточенно кивал, улыбаясь в усы. Это кратковременное потепление между ними и неожиданное, так необходимое воскрешение их прошлого всегда происходило благодаря бывшей столичной поэтессе по прозвищу «мадемуазель Аморелла».

Крашенная блондинка с тяжелыми волосами, похожими на расплетенные веревки каната, в молодости с азартом меняла мужей и политические убеждения. Была в столице борцом за сокращение рабочего дня, сторонницей разрешения курить в общественных местах, вдовой банкира, женой студента, защитницей бездомных животных. Подчас она умудрялась совмещать несколько взаимоисключающих ролей, на каждом шагу умело создавая скандалы, провоцируя сплетни, устраивая публичные драки, всегда и всюду с упоением позируя фотографам.

Потом случилось апрельское утро, напоминавшее свежестью бутон полевого колокольчика. В маленьком кафе на площади перед собором, который накалывал облако на шампур готического шпиля, величественно попивая чай, мадемуазель Аморелла посмотрела на свои руки. Она осеклась, но все-таки отхлебнула еще глоточек. Со ступенчатым фарфоровым хрустом поставила чашку на блюде. Посмотрела на свои руки еще раз, чуть приблизив к окну, к свету, но снова не смогла узнать их. Тонкие длинные пальцы, безупречный маникюр, перстень с нефритом в тот день лишь подчеркивали подступающий сентябрь этих рук, не знавших усталости, тяжелой работы и даже домашнего труда. Это по-прежнему были цепкие паучьи руки, которые никогда не выпускали свое. Но одновременно это были чуть грустные отцветающие руки. Совсем чужие. От которых хотелось отвернуться.

В тот день мадемуазель Аморелла впервые в жизни запнулась, почти растерялась. Она рассеянно забыла о всех делах, поскорей расплатилась за чай, схватила сумочку и отправилась скитаться. Бродила по извилистым улочкам старого города бледным отчаявшимся призраком, потерявшим память, лицо и имя. К вечеру она все же сумела кое-как убежать от отчаяния, собраться заново, склеить свое подобие из уцелевших осколков. Последующие несколько месяцев она самоотверженно держалась, не подавая виду, что знает о наступлении своей осени, что чувствует повсюду ее сырой, тревожащий ветер. Умело воссоздавая былые ужимки, она царственно выгуливала обширное собрание платьев, оголяла монументальные плечи, повиликала бедрами и с завораживающей хрипотцой хохотала перед изумленными зрителями своей жизни. И все же после того дня она все чаще настороженно умолкала, панически выискивая в жестах и ухмылках знакомых неуловимые подтверждения своего нарастающего листопада.

Однажды в щедро осыпанный пылью и солнечными бликами июльский полдень, оставив на память от своей поэтической и светской жизни лишь легкомысленное прозвище, мадемуазель Аморелла въехала в приморский городок. Не подавая виду, что на самом деле бежит сюда от отчаяния, что старается обмануть свою осень и как-нибудь перехитрить судьбу, она гордо выпрямилась за рулем старого «Мерседеса» с открытым верхом, чуть вздернула носик, чтобы ветер трепал синий кружевной шарф и беспечно ворошил золотые локоны победительницы.

Она торжественно ворвалась в городок в сопровождении грузовика, до скрипа набитого мебелью, платьями, сапогами и босоножками с пиками и шпагами воинственных каблучков. Незадолго до переезда мадемуазель услышала по радио своеобразное напутствие, которое показалось ей весьма удачным для начала пятнадцатой по счету новой жизни: «Намеревался встретить в этих тихих местах свою старость». Заучив эти слова наизусть, постепенно сроднившись с ними, как добродушная и практичная мачеха, мадемуазель Аморе́лла глубокомысленно произносила их новым соседям и встреченным на улицах старушкам городка.

– Вот, – исповедовалась она продавщице бакалейной лавки, – сбежала от выхлопов и гудков. Долго сопротивлялась, но все-таки сумела вырваться из цепких лап большого города. А здесь меня дождался прабабушкин дом, родовое гнездо. Небольшая деревянная ви́лла – жаль, что далековато от моря. В детстве она казалась нам с сестрой настоящим замком: сиреневая ви́лла с белыми ставнями, по которой гулял ветер надежд и предчувствий... Сестра умерла пять лет назад. Все мои умерли. Теперь мой дом серый от времени и дождей. Старый. И такой холодный. Даже не знаю, что с ним делать, за что хвататься. Постепенно перестрою. Заменю рамы. Чуть-чуть утеплю. Но это со временем. А пока отдохну. И настроюсь встречать в этих тихих местах свою старость. А как же иначе, милочка. Она никогда не спрашивает перед тем, как нагрять. И объявляется неожиданно. Я сама-то еще ничего о ней не знаю, слышала, что так говорят. Но, похоже, лучше уж подготовиться, чем позволить гостье застать нас врасплох.

В этих смиренных сиреневых монологах, очень расположивших к ней прохожих и соседей, мадемуазель Аморе́лла умалчивала о своих тайных надеждах. Во-первых, встретить в городке скромного провинциального холостяка. И, конечно же, воодушевиться здесь, в провинции, новыми политическими убеждениями. Без которых мадемуазель ни дня прожить не могла. Без которых с ней случались приступы астмы и затяжные мигрени. Потому что больше всего на свете она боялась скуки и повседневности.

Присмотревшись к неторопливой жизни городка, мадемуазель скоро переделалась в шуршащий, вжикающий при ходьбе спортивный костюм. Немного погодя она остригла волосы в маленькой парикмахерской, недалеко от бульвара, где два старых скрипучих кресла и мутная витрина по вечерам разбрасывает на брусчатку леденцы лилового света. Через некоторое время соседкам казалось, что мадемуазель всегда, безвыездно жила здесь.

Обживая городок, она с первого дня принялась изучать слухи, поверья и легенды, при любой возможности допрашивая всех встреченных на пути мужчин. Со временем ей удалось выпытать многие местные тайны. Например, про торговку босоножками и шлепанцами с пятничного «большого» рынка, которая однажды поколотила цыгана-предсказателя, попытавшегося украсть с лотка резиновые сапоги. Она узнала о художнике с мировым именем, который приезжает в городок, чтобы подвести итоги жизни и сверить часы, ведь он уверен, что время здесь течет иначе, чем во всем остальном мире. И, конечно, от Аморе́ллы не укрылась история памятника, что так гордо и одиноко стоял на небольшой пятиконечной площади, возле кинотеатра, библиотеки и магазинчика шляп. Лет двадцать назад этот памятник из серо-розового мрамора установили в честь героя, который прошел три войны, а потом стал авиатором и многие годы участвовал в испытании дельтапланов и самолетов. За изваяние скульптору была вручена правительственная награда. Что вовсе не мешало девушкам городка каждое лето, в день солнцеворота, украшать каменную голову героя венком из полевых ромашек, васильков и колокольчиков – не фамильярность, скорей бесхитростная и безбрежная девичья нежность.

Из воспоминаний, сбивчивых слухов и документов, наспех прочитанных в безлюдном музее истории городка, мадемуазель Аморе́лла со временем сумела восстановить один день чужой жизни, которая совершенно ее не касалась. Ей стало известно буквально по минутам: однажды будущий памятник, тогда еще сорокалетний мужчина без лысины и без единого намека на седину, пригласил знакомую даму прогуляться по небу. Говорят, она была его невестой. Или должна была стать невестой в конце той давно задуманной прогулки под облаками.

Хотя, возможно, дама сама упростила будущий памятник взять ее с собой в самолет, намереваясь проверить, существует ли на самом деле седьмое небо или оно – выдумка и сказка, впрочем, как и многое в этом мире.

Аэродром в те годы располагался в окрестных полях, недалеко от окружного шоссе. Было раннее утро, медленно наливающееся жаром. Бабочковое. Медвяное. Герой трех войн яростно разогнался по взлетной полосе, что тянулась среди перепаханной жирной земли полей. Вздыхая пыль, раздирая тишину истошным ревом, маленький легкий самолет оторвался и взмыл в перламутровое утро августа. Герой трех войн направился к облакам, выкрикивая даме заранее заготовленные слова о чайках и их свободе. Вездесущий рев двигателя придавал ему безоглядой мальчишеской решимости. Все внутри и снаружи хрупкой машины грохотало, гудело, дребезжало. Все мешало словам, их раздувало ветром, их разбрасывало по сторонам, их разбивало пропеллером на множество крошечных стеклянных брызг, будто мыльные пузыри, не успевающие блеснуть радугой разводов. Герой трех войн отчаянно повышал голос – до крика, до хрипоты, намереваясь сделать мертвую петлю своего рассказа, последовательно и плавно перейти к необходимости быть вместе, к чувствам, которые сильнее свободы, которые сильнее жизни. Он давно наметил как-нибудь коротко и точно, по-военному прямолинейно доложить даме о своей невозможной, неодолимой любви к ней.

Теперь он так разволновался, что не ощущал рук, не чувствовал пальцев, как если бы нечаянно растерял их. Рассуждая, с каждым словом приближаясь к судьбоносной петле признаний, будущий памятник недопустимо отвлекся, нечаянно вырулил самолет под самые облака, намного превысив дозволенную хрупкой и несовершенной модели высоту. Заговорившись, раскричавшись, он растерялся. Безрукий, взволнованный, не сумел справиться с управлением. Все никак не мог вспомнить совсем простое, из курса начинающих пилотов – как разблокировать аварийный рычаг. На следующий день, ближе к вечеру, искавшие их обнаружили место крушения среди приморских дюн. Пижма, тысячелистник, осока, облепиха. Аккуратные холмы желтого песка, по которым гулял ветер. И, будто очищенная второпях скорлупа, выгоревшие обломки самолета. Среди них – двое. Бездыханные, изломанные, умершие в одно мгновение. Окончившие полет вместе и навсегда, так уточняла для себя мадемуазель Аморелла, старательно делая ударение на каждом слове.

Успел ли герой трех войн объясниться в любви? Что сказала и о чем промолчала дама в ответ на его признания? Как прожили они последнюю, страшную минуту падения? В тот краткий миг, когда он и она уже понимали, что все кончено, – взялись они за руки напоследок? Зажмурились и сцепили пальцы в нерушимый замок? Об этом теперь можно было только догадываться. И бывшая столичная поэтесса мадемуазель Аморелла с нарастающим любопытством разведывала подробности этой истории у самых разных встречаемых ею на пути мужчин городка. Увы, среди них не отыскался скромный провинциальный холостяк, с которым можно было бы стариться в этих тихих местах. Зато со временем, разузнав подробности трагической гибели героя трех войн, шумная мадемуазель нечаянно впустила в грудную клетку один день чужой жизни. Она вдруг приняла близко к сердцу тот утренний полет, смертельную петлю признаний, нечаянное крушение самолета. Она была тронута, она лишилась покоя. Она отыскиала болезненное удовольствие в том, чтобы снова и снова сочинять последнее признание героя трех войн. Обычно Аморелла размышляла над смертельной петлей за чашкой вечернего чая, все сильнее веря, что именно эти слова она и сама так ждала, жаждала и желала услышать. Но по печальной усмешке судьбы их никто никогда не произнес, не прокричал, не прошептал ей. Ведь по жестокой ошибке времени и пространства именно эти слова намеревался прокричать за несколько минут до гибели сорокалетний мужчина без лысины и без единого седого волоса, главный памятник городка, установленный на пятиконечной площади. Намеревался наконец исторгнуть из себя эти драгоценные слова для другой, вполне возможно, бесцветной и однообразной дамы, сумевшей проникнуть в его сердце.

Сочинив признание или все же прозрев до единого слова своим растроганным сердцем, мадемуазель Аморелла решила до конца своих дней оплакивать героя трех войн. Раздумывая о его последнем часе, она всегда становилась безутешной, наполнялась мглистой тяжестью горя, как будто и впрямь была единственной дамой, которой он так и не успел признаться в вечной и невыносимой любви.

С некоторых пор мадемуазель Аморелла каждое воскресенье ходила на свидание. Рано утром она неторопливо струилась по аллее приморских вилл в черном платье до пят, с сумочкой, украшенной черным страусовым пером, в бархатной шляпке с короткой кружевной вуалеткой. Торжественно брела сквозь ароматы корицы и тины, горького шоколада, копченостей и псины, пыли и гиацинтов, гнили и луж.

Шла мимо заброшенных домов, что палились ей вослед глазами выбитых окон. Смирненно и в то же время задумчиво проходила мимо пекарни. Чуть прибавив шагу, спускалась вниз по улочке, соседствующей с рыночной площадью. Не поворачивала головы в сторону оживленных, роящихся суетой торговых рядов. Не вздрагивала, когда колокольчики маленькой часовни, похожей на фургон бродячих артистов, озаряли окрестности пронзительным перезвоном, позолоченным воскресным гимном, в котором над городком звучали будильники, долгожданные телефонные звоночки, рождественские бубенчики, музыкальные шкатулки. Не засматриваясь по сторонам, не прислушиваясь, о чем говорят и помалкивают прохожие, Аморе́лла спешила к своему жениху, к холостому и неброскому мужчине, на котором она запнулась, от которого ее сердце рванулось во все стороны сразу. И ожило. И затрепетало окончательно и бесповоротно.

Смирненно опустив голову, спешила она через пустырь возле лютеранской церкви. Тенью скользила мимо салона зеркал, один-единственный раз посмотрев в сторону реки, чтобы ухватить ненасытными ноздрями сырой ветер, перемешанный с копотью и угольной дымкой. Шла мимо запертого по воскресеньям магазинчика шляп. Спешила по безлюдному переулку, в котором жил и хозяйничал мшистый выдох подвалов. Почти бежала на площадь. К нему. К нему.

Каждое воскресенье сквозняк трепал подол черного платья, перебирал чуть хрустящие кружева, ворошил чуть поблекшие волосы. Аморе́лла издали выплескивала в небо ладонь и с каким-то новым, незнакомым усердием махала своему жениху, тому, с кем она намеревалась встретить старость в этом тихом месте. И памятник герою трех войн ждал ее посреди пятиконечной площади, молчаливый, статный и бесстрашный, в серо-розовой каменной шинели, которая обтягивала его треугольную спину. А чайки плавали над шпилями и чердачными окнами, сновали над его и ее головами, распахнув в широком сером объятии острые крылья. А чайки скользили над почерневшими черепичными крышами городка, плача и крича о своей бескрайней свободе, которую не на что выменять и некому отдать, в какую из сторон света ни лети.

Когда капитан слышал о мадемуазель Аморе́лле, в сердце его распускалась маленькая смешливая роза. Сейчас он почувствовал то же самое. Но оживившаяся и повеселевшая Лида зачем-то призналась, что дважды посещала кружок, пока он лежал в больнице. Узнав об этом, капитан почувствовал изжогу. Возможно, это была ревность. Или недоумение. Или что-то другое, многослойное, несколько минут безжалостно испепелявшее ему нутро.

Как всегда, озаренная рассказами о кружке, Лида по неосторожности проболталась: все эти дни на карниз спальни прилетали три чайки. Сидели перед окном. Смотрели вглубь комнаты, будто ждали его возвращения с минуты на минуту. И это казалось хорошим предзнаменованием... Почему-то про чаек капитан слушал внимательно. Слушал и замирал, слушал и мерз, не решаясь задать вопрос: неужели все и вправду неважно с его здоровьем? И Лида осведомлена, знает прекрасно, но изо всех сил старается скрыть, хотя нисколько не умеет притво-

ряться. И никогда не умела. Совсем не актриса. В том числе и за эту непосредственность, за простоватую безыскусность он когда-то отличил ее от стайки жеманных подруг. Как-то сразу доверился ей, раскрылся, а потом уж и полюбил – неожиданно, безбрежно.

Между делом, как будто слегка извиняясь, Лида обмолвилась, что сын взялся за вторую работу. Теперь три раза в неделю сторожит спортивно-оздоровительный центр. «Дня не прошло, – тихо жаловалась она, – на руках пошли экземы от хлорки бассейна...» Ничего не сказав в ответ, капитан через силу влил в себя бледненький чай, который ему настоятельно советовал доктор. Едва подкрашенный и безвкусный, от какого любая проворная мысль впадает в спячку, зато сердце бьется спокойно и давление не скачет. Изученную до мелочей, изведенную годами радость возвращения домой заглушила незнакомая тревога: хотелось зажмуриться, ничего не слышать, ничего не подмечать, чтобы цепь мелких штришков и нечаянных догадок не привела к обоснованным подозрениям. Вроде того, что Лида напугана. Или даже так: она ждала худшего, она почти смирилась. Но обратный отсчет все-таки удалось приостановить, и теперь худшее отложилось на время. Неужели эта чертова глубоководная мина его внутренностей делает жилки Лиды дребезжащими, а ее увядающую кожу – почти прозрачной. Она так напряжена, будто держит на голове серебряный поднос, уставленный бокалами на тоненьких ножках. Стараясь изо всех сил сохранять равновесие, опасаясь пошевелиться, она медленно и плавно струится по коридору. Держит спину очень прямо. Избегает резких движений. Сдерживает слова. Но как будто слышен тоненький перезвон бокалов, похожий на далекий плач. И дом заранее начал копить следы отсутствия хозяина, сгущающиеся признаки его исчезновения. Иначе к чему бы Лиде так угодливо, почти виновато укутывать капитана в синий плед? Будто он – обездвиженный ревматизмом пенсионер. Или обессиленный юноша-туберкулезник. Иначе к чему, некрасиво зачесав волосы назад, она легонько опускается на край дивана и незнакомо, трепетно гладит тыльной стороной ладони его щетинистую щеку. А потом, с тем же шатким серебряным подносом на голове, сгорбленная и притихшая, сосредоточенно роется в секретере, разыскивает отложенные до его приезда газетки, а на самом деле, вполне возможно, пытается скрыть слезы и дрожь.

3

Оставшись в комнате один, он развернул газету посередине и заглянул сквозь строки в безбрежную неизвестность. Его обычно улыбчивое, заразительно-лучистое лицо мигом опало, натянутая ухмылка расплавилась, обезоружив растерянную обескровленную личину. Там, в больнице, капитан не сомневался: дома он мигом обретет ощущение берега, как всегда, станет устойчивым и квадратным, несокрушимо живучим, умеющим везде и всюду находить опоры. Но ничего подобного не произошло. Он растерянно моргал, заслонившись газетой. И сокрушенно признал, что теперь даже ожидает, настороженно и покорно готов улавливать новые доказательства в пользу «временной остановки пускового механизма» чертовой глубоководной мины. Весьма неопределенной. Для всех неожиданной. А значит, готов покориться безысходности, принять ее и ждать худшего.

Всю последующую неделю его на каждом шагу подстерегали намеки, едва различимые штришки, доказывающие обоснованность опасений. Он не ожидал, не был готов оказаться с этим упорным обстрелом один на один. Он догадался, что каждый новый выстрел-подтверждение его обреченности будет наступать неожиданно и жестоко, сбивая с ног, лишая опор, будто рождаясь в ответ на его слабость и смятение, на буйное беспокойство утопающего, на его смирение, на нежелание во что бы то ни стало выкрутиться и все же спастись из этого переплета.

На третий день после возвращения из больницы он затаился, стал подозрительным. Он наблюдал. Еще через два дня обычную добродушную говорливость как рукой сняло: капитан вслушивался в каждое слово Лиды, норовя угадать очередную атаку неутешительных дока-

зательств. Скоро он без труда разведаль: жена сменила тариф мобильного на дешевенький, предполагающий меньше бесплатных минут в месяц. На лице приехавшего навестить сына отчетливо читалась неловкость. Прямодушный Лев ни капельки не умел подыгрывать и притворяться – весь в свою мать. Пожалуй, в отличие от нее, сын плоховато справлялся с ситуацией, совсем не умел выносить растянутую во времени, нависающую над домом безнадежность. Чтобы как-то подбодрить парня, после ужина капитан украдкой вложил ему в ладонь свернутый гармошкой примиряющий стольник. Похлопал по плечу, поинтересовавшись, как на чемпионате сыграла итальянская сборная. «А португальцы? И ты не удосужился записать для меня финал, помнишь, как бывало, когда я ходил в море?» Но нет, Лев не записал для него финал чемпионата, было слишком много работы. На голове сына угадывался тот же невидимый поднос со стаканами, которые тихонько позвякивали при каждом неосторожном движении. Неловкость. Настороженность. Необходимость взвешивать каждое слово, прежде чем оно все-таки прозвучит.

После семейного ужина, чувствуя себя, как если бы отработал неделю в шторм, капитан неожиданно наткнулся на любопытное объявление в районной газетке за позапрошлую неделю. Вначале он не понял, примирительно усмехнулся. Потом сердце поперхнулось, отдавалось в левом виске, бултыхнулось в шее. Он проверил каждую цифру, перечитав объявление трижды. Все совпадало: номер и цвет его старенького «Рено», мобильный сына. Капитан хотел позвать Лиду и как-нибудь мягко, примирительными намеками расспросить, с чего это они решили продавать его машину, не посоветовавшись, не спросив. Кое-как сдержавшись, он кинулся к секретеру, с нетерпением расшвырял стопку газет, уронил на пол телефонный справочник, немедленно намереваясь проверить, было ли объявление в последних номерах газеты, совпавших с его переводом из реанимации в палату вернувшихся с того света.

Вместе с ворохом растрепанных журналов по садоводству и оздоровительными листками на серой ворсистой бумаге из глубин секретера прямо ему в ладонь выкатился маленький ржавый ключ от служебного почтового ящика. Капитану редко кто писал в последние годы. «Наверняка, – подумалось ему, – теперь почтовый ящик в порту до отказа забит рекламой пиццы, предложениями кредитов, визитками адвокатских контор, буклетами бань и могильных памятников – на любые случаи жизни и ее возможных последствий». Капитан тут же выпустил из головы злополучное объявление о продаже машины и сжал ключ в кулаке. Вспомнилась странная затея с письмами, о которой так настойчиво рассказывал ему доктор Ривкин. Теперь было жаль, что он все прослушал там, в больнице, что не понял ни слова. «Надо будет на днях прогуляться в порт, проверить, может быть, они что-нибудь уже прислали», – снисходительно подумал капитан, и это впервые после возвращения слегка примирило его с настоящим, создало какую-то смутную цель его дней. И слегка отредило от всего вокруг.

Еще одной новостью, которую он старательно пытался недопонимать, стало слишком частое упоминание нелюдимо и довольно неприятного соседа. Угрюмый бородач всегда напоминал капитану один из фонарных столбов, что смиренно горбятся на набережной, над темной осенней рекой. Многие годы сосед непримечательно жил наискосок на четной стороне улицы. Его добротный дом казался безликим, слитым с такими же основательными строениями, без искорки, без послания. Теперь этот дом зачем-то прорисовался, выскочил из ряда других – приглушенно-коричневый, с аккуратными бежевыми ставнями, с пустыми и молчащими окнами без статуэтки, без горшка фиалок, будто хозяин тщательно скрывал свои привычки, свои предпочтения.

У соседа в позапрошлом году умерла жена, и дочь с внучкой тут же переехали в столицу. С тех пор к нему никто не приезжал, не заходил в гости. Сам того не желая, капитан зачем-то узнавал от Лиды подробности жизни скованного долговязого человека, с которым за послед-

ние десять лет здоровался от силы трижды. Оказывается, этот Яков когда-то работал радиоинженером в оборонной организации. Теперь по вторникам и четвергам он вел в детском центре радиокружок. У него огромная коллекция радиоприемников, самых разных, со всего мира. Они занимают три стены радиостудии детского центра, такой маленький музей. Там есть ламповые и транзисторные радиоприемники. «Спидола», «Родина», «Сельга», – Лида поизносила их названия с незнакомым капитану благоговением, будто имена священных птиц. «Представляешь, – оживляясь, щебетала она, – все его приемники до сих пор работают, на любом можно поймать какую хочешь музыку или новости». Она уже знала, что дед Якова тоже был радиомехаником. Самый первый радиоприемник коллекции дед смастерил сам, по схеме из журнала. Этот самодельный радиоприемник всегда начинал шипеть и подкашливать, улавливая приближение к городку урагана. С помощью его дед Якова раньше всех узнавал, что к городку подступает непогода. Он частенько предупреждал соседей, чтобы они закрыли ставни, захлопнули форточки, сняли белье и впустили на ночь в дом цепного пса. За это над стариком сначала подсмеивались, считали чудачком, но со временем к его советам стали прислушиваться, ведь самодельный приемник никогда не ошибался.

Утопающий в малопонятном, утратившем прежние опоры мирке, безжалостно атакуемый лихорадкой, капитан выслушивал Лидины рассказы о соседе. Неразговорчивый Яков два раза подвозил Лиду на автовокзал, чтобы она успела в больницу. Сосед вызвался не сам, она его упростила и заплатила, хотя он отказывался брать деньги. Когда капитан был в реанимации, Яков неожиданно зашел узнать, не надо ли помочь. Застав Лиду в смятении, долговязый Яков, похожий на проржавевший циркуль из старой готовальни, сидел в гостиной, читал газету, прилежно отсчитывал для Лиды двадцать капель успокоительного. Он ни о чем не спрашивал, не утешал, не пытался подбодрить. Просто сидел, поскрипывая креслом, переплетя длинные худые ноги жгутом. Никак не скрашивал дребезжащую тишину дома, нисколько не смягчал тягучую неизвестность. Никакой суеты, никаких слов. Он тенью таился в углу, пока Лида судорожно листала врачебный справочник, в десятый раз перечитывая одно и то же. И упрямо старалась надеяться на лучшее, которое неожиданно случилось, стало возможным: капитана вытащили из волокнистой темноты на свет, вытянули из обморока в полусонное, бесчувственное состояние младенца, а потом перевели из реанимации в палату воскресших. После трех тяжких вечеров, испепеливших нутро Лиды саднящей неопределенностью, не улыбочивый и молчаливый сосед стал для нее чем-то вроде талисмана, превратился в особого друга семьи, умеющего без слов и суеты создать противовес неизвестности.

«Его участие помогло справиться, понимаешь. В этом заключается, именно так действует человеческая доброта», – щебетала Лида за ужином, по-новому заботясь о прическе, слишком прилежно нарезая в тарелке капитана парную говядину. Он послушно кивал, изо всех сил стараясь недопонимать. Тем не менее по затылку ворчливым холодком сквозило: зарплата Лиды с трудом покрывает расходы на свет, телефон и газ. А кто будет платить за дом? Кто будет ее кормить? Кто в одну из апрельских суббот повезет ее на рынок за саженцами для клумбы, за бархатцами и петуньями для цветочных ящиков? От догадок, предчувствий, прозрений, в которые не хотелось до конца вникать, черный якорь в груди капитана плавился в ядовитый кисель, вытравляющий все живое и радостное в огромном радиусе вокруг него. Будто учуяв эту горечь, на подоконнике увяла карликовая розочка, десять лет дарившая Лиде крошечные бледно-розовые цветы и остроконечные бутоны.

От зловредных воздействий своей печали капитан все же сломался, расклеился, слег с лихорадкой. Его бросало в жар, потом обдавало ледяным февральским ветром. В редкие минуты улучшений он бродил по дому бессильным и бесцветным призраком. Маялся без дела, выдвигал и тут же задвигал ящики письменного стола, не желая вникать в дичающие вещи, в документы и бумаги, превращаемые его безучастием в бессмысленный и отживший хлам.

В серванте пылились его сокровища – увесистые куски янтаря, выловленные сетью вместе с рыбой на самой середине моря. Они лежали на полках, приглушенно мерцая внутренним солнцем, загустелым медом, смолистым покоем. Раньше капитан частенько открывал дверцу серванта, любил иногда перебрать свои янтарные слитки, припоминая, когда и где их удалось выволить из морской неизвестности. Иногда он бережно стирал с них пыль, стараясь проникнуть тряпочкой в каждую впадинку, в каждый разлом застывшей смолы. Иногда он закрывал глаза и сжимал в кулаке медовую легкость, чувствуя, как невесомая и лучистая слеза глубин постепенно нагревается от его ладони. Теперь дверцы серванта были заперты на ключ, туда совсем не хотелось заглядывать. Ничего не хотелось перебирать. Янтарь темнел, утрачивая прозрачность, обрастая тоненьким серым шифоном пыли и забвения.

Пару раз, когда температура спадала, капитан подходил к книжному шкафу, ворчливо вытаскивал из ряда крепко прижатых друг к другу томов какой-нибудь случайный. Вертел книгу в руках, пролистывал, выхватывая отдельные выкрики, названия глав, сноски – и тут же прятал книгу с глаз долой, суетливо запикивал как придется, заламывая и сминая страницы. Даже карты всех стран и всех океанов стали ему безразличны. Даже атласы, над которыми он раньше любил забыться и терял счет часам, до бесконечности изучая зеленоватую бумажную поверхность морей, разлинованную меридианами, усеянную дразнящими скорлупками просыпанных самим богом островков. Даже они оказались слабее, не способны были придать хоть немного прежних сил, хоть крупицу воодушевления.

По вечерам, когда Лида на кухне неугомонно позвякивала крышками наперебой с музыкой радио, капитан шепотом разговаривал со своей миной. Как рыбак из книги «Старик и море», вынырнув из серого морока нарастающей слабости, он цитировал по памяти: «Мина, я с тобой не расстанусь, пока не умру... Да и ты со мной, верно, не расстанешься». Иногда злая мина представлялась ему хищной муреной, затаившейся до поры до времени под обугленными корягами кишок. Или стаей пираний, которые по ночам отщипывали тут и там от стенки его брюшины. А иногда он отчетливо чувствовал справа, под ребрами, маленькую молодую акулу, злую и голодную, готовую вот-вот наброситься на его печень и начать безжалостно отрывать от нее куски. «Как ты там, мина? Все тайшья, все помалкиваешь? Скажи, чего ты задумала? Сколько твое затишье продлится – неделю, семнадцать дней или, может быть, месяц? Чего ты теперь поджидаешь – думаешь, я сдамся и струшу? Не молчи, мина! Но еще лучше – молчи и не отвечай».

И капитан снова тонул среди отстранившихся от него вещей. В такие минуты комната казалась чужой, почти незнакомой. Как будто вдруг обособилась, отделилась и стала одной из множества каморок городка, в которой корчится от усталости и бессилия незнакомый, отживающий человек. Каждое утро, едва капитан открывал глаза, его приводили в отчаяние шторки, года два назад купленные женой на рождественской распродаже. Как она радовалась в тот день, как она оживленно строчила на машинке эти оборки, уже порядком обтрепавшиеся. Сколько маленьких бытовых надежд, самодельных радостей, нанизанных на ниточку его дней, теперь покрылись патиной, утратили фальшивую позолоту. Померкли. Казались почти омерзительными.

4

Рано утром в воскресенье Лида, как всегда, принялась шелестеть оркестром целлофановых пакетов. В ее назойливом оркестре участвовали пакеты-басы из толстого целлофана и полиэтиленовые сумки, пронзающие слух настырным шуршанием. А остальную музыку составлял разноголосый хор тоненьких пакетиков, посвистывающих и визгливых.

Все было как обычно: жена собиралась на воскресную службу. «Наметила после церкви зайти на рынок», – угадывал капитан, не зная, радоваться или скучать от предсказуемых собы-

тий, составлявших его жизнь в последние годы. Раскалившаяся за ночь подушка жгла затылок. В подтверждение его догадкам жена осторожно заглянула в спальню. Убедившись, что он не спит, приторным шепотком поинтересовалась: «Купить чего-нибудь?» Тогда капитан, сам того не ожидая, огласил дом выкриком сиплой раненой птицы: «Папирос!»

Укоризненно глянув из-под бровей, Лида удалилась. Не произнесла ни слова. Не покачала головой. Не хлопнула дверью. Оставила наедине с тягостной и многозначительной тишиной.

Подкравшись к окну, он выяснил, что старуха-соседка, хозяйка воющей по ночам псины, медленно прихрамывает к остановке под руку с Лидой. Они ковыляли понуро и смиренно, в выходных пальто и шляпках, перебрасываясь замечаниями, качая головами, заслоняясь сумками от разъяренного в предчувствии зимы ветра. Несмотря на испепеляющую немощь, капитан галантно дождался, когда дамы залезут в маршрутку, только тогда почувствовал себя один на один с насупленным домом, до отказа набитым безразличными вещами, которые научились делить свое существование без его присутствия и прекрасно без него обходились.

Вспомнилось, как под Новый год дочь хромой старухи зашла посплетничать, распространяя вокруг кряжистый дух перегара. Она так раскатисто кашляла, будто норовила во что бы то ни стало выхаркать сердце. Лида весь вечер отпаивала гостью липовым чаем, и они сбивчиво перешептывались на кухне.

В тот вечер, сам того не желая, капитан нечаянно подслушал, что у хромой старухи какие-то давние размолвки со сватьей. Что-то между ними однажды стряслось, – сейчас уж никто точно не помнит. Так или иначе, лет пять назад между двумя кроткими на вид старушками вспыхнуло молчаливое соперничество, негласное состязание – кто кого переживет, кто окажется крепче. В тот новогодний вечер дочь старухи громко жаловалась, что в последнее время мать все чаще заводит невыносимый спортивный разговор, мелочно и придиричливо оценивая свои скудные возможности и ревностно вычисляя силы соперницы. В такие минуты, упав в кресло, нетерпеливо оттолкнув ногой кота, хромая соседка со скорбным торжеством напоминала дочери, что всю жизнь проработала санитаркой в окраинной больнице городка. Часто брала ночные смены, таскала на своем горбу паралитиков, света белого не видела, «пахала как лошадь» без отпусков и выходных. Зато сватья, жена архитектора, всего два или три года служила страховым агентом. Потом стала домохозяйкой, «всю жизнь мужу тапочки подавала эта твоя пустышка свекровь» – при любом удобном случае гневно швыряла старуха в лицо дочери.

Каждый раз хромой старухе хитростью удавалось разведать, она была отлично осведомлена, кто чаще лежал в больницах, у кого сильнее шпарит давление, кто ведет по числу кризов и предынфарктных состояний. Приняв во внимание трехкомнатную квартиру соперницы, выходящую окнами на сосновый парк, старуха приходила к неутешительным выводам, скорбно предсказывая: «Так и знай, года не пройдет, свекровь Агата будет хоронить твою мать». От своего бессилия, от предчувствия скорого поражения старуха на полдня впадала в ворчливое уныние. Потом, неожиданно воспарив духом, оживлялась, намереваясь перебороть... все-таки пережить негласный закон природы и хитростью, обманом, подлогом пережить все-таки соперницу и победить. В ход шла артиллерия мазей, растительных масел, общеукрепляющих настоев. Из городской газетки вырезались оздоровительные рецепты любителей подручных лекарств, умеющих превращать в средство исцеления все что угодно, не исключая куриный помет, накипь и ржавчину. Как ни странно, нехитрые вырезки, упрямая оздоровительная суета, подкрепляемая завистью и страхом, придавали старушечки сил. В прошлом году ей исполнилось восемьдесят, но она по-прежнему, на все лады причитая, ковыляла без палки на рынок. И на воскресную службу в теплые и безветренные дни прихрамывала, подбадривая себя тем, что не намерена превращаться в лежащий куль и становиться для дочери обузой.

Вспомнив об этом соревновании, придающем здоровья обманным путем, капитан почувствовал волну, ударившую его в носоглотку. Захлебнувшись и утонув, он опал на диван, будто якорь, сброшенный на дно морское. Замер, вслушиваясь в шорохи пронсящих за окном машин. Ненадолго превратился в тихий стон зависти и тоски от сознания чьей-то чужой жизни, протекающей в этот момент где-то поблизости, во всей своей неистощимой, неуязвимой и неуывающей пока полноте.

Лихорадка и немощ набрасывались наперебой, почти без просветов. Лиде кое-как удалось упротить его, чтобы прогулка к морю была отложена еще на несколько дней. Потом об этом пришлось забыть вовсе. Под действием травяных чаев и настоек капитан целыми днями спал обморочным потусторонним сном. Он теперь часто видел во сне двор своего детства, он ждал, когда же мать выглянет в окно и позовет его обедать. Но она не выглядывала, наверное, заболталась по телефону, заслушалась радио или уснула. И он часами скитался по подворотням, ошивался возле незнакомых подъездов, из которых тянуло холодом и сыростью. Он наблюдал, как небо темнеет над антеннами жестяных крыш, чувствовал, что скоро разразится ливень. И все равно ждал, когда же мать позовет его есть самый вкусный в мире суп с клецками. Наваристый, горячий, пряный – после сентябрьской пронизывающей прохлады. Но она заслушалась радио, заболталась по телефону, задремала. И снова не звала его, не звала бесконечно, мучительно, до самого пробуждения.

По утрам он мерз под одеялом и под толстым овечьим пледом, дрожал, укрываясь с головой, совсем по-детски прижимая колени к груди. Разбуженный окончательно, он с усилием выныривал из тревожных черно-белых скитаний, не всегда понимая, где находится. Несколько раз при пробуждении был уверен, что новое утро застигло его врасплох на самой середине штормящего моря, в капитанской каюте «Медного». Из мешанины свалывшихся, обесцвеченных звуков, из топкой тишины затаившегося дома он решительно и непреклонно высвобождал, отвоевывал, воскрешал шум рассекающей волны траулера, яростный рев двигателя, осыпающие бока брызги, грохот, лязг, крики и перебранку на палубах. Он снова предчувствовал тысячекрылый безжалостный ветрище, колющий щеки миллионами затупленных игл, пропитанный льдом, горчинкой морской воды, бескрайним простором и перламутром снежинок, похожих на чешую крошечных рыб, затаившихся у самого дна в ожидании весны.

Когда он ходил в плавание и по разным причинам задерживался на самой середине моря, Лида убегала из лица в обеденный перерыв. Нетерпеливо вырывалась из тихих улочек, обманом выпутывалась из всех своих тревог – к морю. Долго сосредоточенно брела по кромке волны, обняв себя руками за плечи, взглядываясь в тающие на мокром песке обрывки кружевной пены. Неохотно припоминала закономерность, обнаруженную много лет назад, задолго до замужества. Море всегда извлекало из глубин, вытаскивало из соленых мерцающих толщ и выбрасывало на берег к ее ногам именно то, что теперь закончилось, что прекратилось, что навсегда утратилось из ее жизни. Как будто законченное и отжившее, именно здесь, на берегу, проговаривало себя громко и вкрадчиво, слагалось в крыло мертвой чайки, в обрывок цепочки, в игрушечный вертолет из ярко-синей пластмассы. Камешки-знаки намеренно попадались на глаза, провозглашая наступление очередной невозможности. Серый осколок в форме корабля однажды явился и был разгадан как завершение походов в море ее отца, как неумолимый предвестник схождения старого моряка на берег. Лида отлично помнила темно-красный камешек в форме сердца, замеченный среди заплаканной гальки и увлажненного прибоем песка через два года после рождения сына. Она выхватила его из-под волны и сжала в кулачке, до боли вонзившись пальцами в ладонь. Прошло немало дней, прежде чем Лида все же приняла это известие, что все ее любви теперь свершились, что все ее нежности растрчены и завершены.

Что отныне настает пустоватый покой устоявшегося и безразличного мира, охладившегося и усмирленного сердца.

Однажды Лида брела по берегу мутным сбивчивым призраком и заметила на мокром песке, у самой кромки волны, серый камешек в форме маленького сжавшегося человечка, с вкраплениями кровинки сердолика, который подтвердил окончательно, бессловесно, что врачи не ошиблись, что она действительно больше не сможет иметь детей. Ей часто вспоминался серо-фиолетовый чертов палец, похожий на патрон, извлеченный морем в тот день, когда она всех простила и все приняла, утратив ярость и ненависть, сдавшись череде мирных мгновений, нанизываемых на ниточку недель и лет. Без войны, без ненависти, без страсти. Лида каждый раз до мелочей припоминала эту беспощадно-верную, давно подмеченную закономерность, которая многие годы поражала ее, погружая в благоговейную горьковатую немоту. Иногда, прогуливаясь вдоль берега, она панически вглядывалась под ноги, выискивая среди камешков, высматривая в клубках водорослей новый знак наступления невозможности. Вглядывалась, боясь его обнаружить. И все равно искала так пристально, что глаза начинали слезиться от ветра.

Однажды ей встретились две женщины в алых спортивных куртках. Они шли по берегу на приличном расстоянии одна от другой. Они царственно шествовали Лиде навстречу с палками для спортивной ходьбы, посвистывая болоньей. Одинокое очерченные на фоне яркого ледяного неба, независимые, спокойные, ничем не встревоженные, женщины гордо маршировали у кромки волны, неся вдоль моря обветренные лики надежды на долгожданную встречу. Алые, как сигнальные флаги, одинокие, как призывные лепестки любви. Проходя мимо каждой, Лида посильнее запахивала продуваемый ветром плащик, уколom гордо ощущая свою неизменную принадлежность и свершившуюся судьбу.

Но бывали дни, когда наедине с морем и ветром Лида становилась легкой, начинала верить, что эти стальные волны конца октября не способны причинить вред ее капитану. Искала в россыпи песчинок медовые слезинки янтаря, нагибалась за ракушкой, прятала ее в кулачке, потом бросала подальше, на съедение волнам. Замечала, как возле Сварливой скалы ночной рыбак камбалы раскладывает снасти. Пела морю свою любимую песню о сестре, которая ждет на берегу брата-рыбака. Как и сестра рыбака из песни, во весь голос разговаривала с Матерью Ветра и Матерью Ночи, умоляя отпустить назад ее капитана. Торопливо брела в сторону мола и маяка, с каждым шагом старательно собирая и склеивая себя, будто разбитую чашку: по черепкам, по кусочкам, по крупинкам. Кружевная оторочка пены шипела и таяла в упругом песке под ее каблуками. Чайки скользили над колышущейся суровой гладью, сновали над пустынным пляжем. Однажды море выбросило к ее ногам три мокрые, осыпанные песком розы. И Лида целый день чувствовала себя безгранично любимой этим вот берегом, свинцовым безмолвием и россыпью сияющих на волнах светлячков.

Возможно, своими песнями, отчаянно снующим по горизонту взором, смятой в кулачке косынкой, мокрыми от осенней мороси волосами Лиде каждый раз удавалось разжалобить даже саму госпожу Алевтину, вымолить у взбалмошного урагана небольшую отсрочку. И тогда, уже распалившаяся и яростная перед очередным буйством в бухте, заслушавшись песней о сестре рыбака, госпожа ураган наливалась сонливой ленью, опускалась на дно морское. Дремала и нежилась в мягком бархатистом иле, в топком сияющем песке до тех пор, пока «Медный» не причаливал к берегу, выпустив на сушу капитана, всех его рыбаков и матросов целыми и невредимыми.

В долгие зимние воскресенья затянувшихся плаваний капитана, когда замерзшие улицы и сжавшиеся дома косо штриховал сизый снегопад, сдержанная и притихшая Лида, оказавшись в центре городка, как никогда внимательно прислушивалась к перешептыванию оконных

безделушек. Ко всему присматривалась, все подмечала. Двух фарфоровых спаниелей в освещенном оконце аптеки. Пишущую машинку и отцветающую герань в широком окне трехэтажного каменного лицея, где она преподавала ботанику. Трагично-желтую занавеску в чердачном оконце бывшей прачечной. Замечала сквозь шторы выцветший за лето букетик искусственных маргариток. Пыльный сифон для газированной воды. Военный бинокль. Оставленную на столике у окна книгу сказок братьев Гримм. Синий китайский термос с бабочкой на поблекшей эмали.

В эти мутные январские дни маленькие сокровища подоконников, воссияв перед глазами, болезненно вторгались в ее шаткий растерянный мир, производя свой истязующий или обнадеживающий ритуал. Они вспыхивали, высвобождая из глубин затаенные тревоги. Или без причины изливали в самый центр груди искристый и обезболивающий мед убежденности, что беды не будет, что капитан скоро вернется домой.

Глава третья

1

Вполне возможно, для таких же растрепанных, расколотых на сотни тревог и опасений рыбацких сестер и жен, ждущих из моря своих мужчин, в последние два века в городке и возникли три церкви Святого Николая. Каждая оберегала под крылом свои улочки и переулочки, помогая женщинам ждать.

За сосновым сквером, за шиномонтажными мастерскими, возле отремонтированного и торжественно открытого три весны назад разводного моста приютилась единственная в городке православная церковь. Со сверкающей колокольней, обернутой в синюю новогоднюю фольгу. С четырьмя крошечными куполами, похожими на облитые глазурью луковицы тюльпанов с фермерского рынка.

Три года назад, весной, когда в начале марта снег превратился в обрывки старого целлофана, иконы в церкви неожиданно начали плакать. Конечно, и тут нашлись некоторые, кто был склонен объяснять все, что угодно, осмысленными поводами и естественными причинами. В их числе оказались одноногий моряк, учительница алгебры из лицея, где преподавала Лида, а также усатый начальник автовокзала. Слезы икон они тут же связывали со слишком снежными зимами последних лет, истолковывали их сыростью плохо отапливаемого помещения, непозволительной близостью старинного здания к реке, трещиной в западной стене и драчливым морским ветром, который долетал даже сюда сквозь скверы и проулки.

Прихожане и любопытные, хоть раз заглянувшие в церковь, впоследствии утверждали: видели собственными глазами сверкающие в дрожащем свете свечей необъяснимые слезинки Богородицы «Умягчение злых сердец». И у «Казанской», кажется, тоже были трепещущие необъяснимые слезинки, заставившие замереть даже скептически настроенную учительницу алгебры, не говоря уж о богобоязненных тетушках и суеверных старушках городка.

Многие в те дни навевались убедиться, что такое и впрямь бывает. Тихонько входили в церковь, пугливо искали глазами в клубящемся синеватом сумраке, пронизанном тихим потрескиванием свечей. Продавщица иконок, укутанная в синюю шерсть, указывала тонкой белой рукой: «Там». Хорошенько рассмотрев каждую слезинку, старушки, похожие на сморщенные зимние яблочки, кое-как удержавшиеся на ветках, молчаливо качали головами. Мужчины хмыкали для отвода глаз, потом хмурились и, будто чуть запнувшись, утихали изнутри. Кое-кто прикрывал рот ладонью, пресекая необдуманный суетный вздох. Мамаша подносила к иконе непоседливого мальчугана, тыкала пальцем в мутное стекло. Шептала: «Видишь, плачет!» Хромая соседка капитана тоже приходила убедиться собственными глазами. Но ничего потом не рассказывала, многозначительно и благоговейно помалкивая обо всем, что увидела и поняла. Не одна она, многие в городке чего-то ждали со дня на день. Особенно по вечерам, когда в окна бился черный сварливый ветер, пахнувший угольной пылью речного порта и гнилыми водорослями, выброшенными волнами на берег.

Потом среди ночи проснулся ржавый штормовой колокол, годами молчавший на набережной, рядом с которым фотографировались туристы и пассажиры парома, причалившего на кратковременную стоянку. В ту ночь штормовой колокол трезвонил до самого утра. Его тонкий сиплый голосок, вначале казавшийся далеким велосипедным звончком, будил от сонной оторопи ночных сторожей и цепных псов, трезвил задержавшихся за полночь в портовом баре гуляк, тревожил неспящих, что украдкой выбрались на свои кухни и курили в форточки, вслушиваясь в порывы ветра, в его свист, причитания и шепот.

К утру повсюду разлетелась весть: на выходе из бухты субботний пассажирский паром столкнулся с норвежским сухогрузом. По всей видимости, помехи управления. Или топкий туман, с недавних пор облюбовавший окрестности городка. Оба судна затонули почти мгновенно. А подробностей и точных причин никто выяснить не сумел. Может быть, виновато прибрежное течение. Сбой приборов. Подводные скалы, которые встречаются кое-где у берега. Или шальная одиночка-волна, неожиданно поднявшись во весь свой исполинский рост, подтолкнула корабли друг к другу.

Вполне возможно, захлебываясь в ледяной воде, навсегда теряясь в воронке уходящего на дно парома, вахтенный помощник, не сумевший избежать беды, отчаянно думал о том, что на самом деле есть только один подлинный, до мелочей проясняющий судьбу гороскоп, – тот, что составляется по дате смерти. Множество вопросов всхлипывало и стонало напоследок в голове вахтенного помощника, отвлекая его сознание от скорой гибели. Кто ты по дате смерти: Козерог, Дева или Стрелец? Случился ли хоть однажды рядом с тобой по-настоящему родной человек? Выпал ли тебе хоть день, пусть даже и собранный по горсткам минут всей жизни, когда удалось отведать подлинного счастья, когда удалось испытать легкость и скольжение чайки с распахнутыми крыльями над городом? Скованный холодом воды, больше не чувствуя ни рук, ни ног, из себя знакомого превращаясь в беспомощный хрип, вахтенный помощник, так и не признавший вину в утоплении парома и гибели людей, с грустью пришел к убеждению, что на самые важные вопросы жизни способен ответить только гороскоп, составленный по дате смерти, знать которую никому не дано, но которая все проясняет, все нити сводит на нет и все отзвуки земные превращает в тишь продрогшего дна морского.

По сигналу о бедствии на спасение людей были брошены все исправные траулеры и причалившие в окрестностях бухты катера. Ближе к вечеру одноногий моряк громко причитал на набережной, хромая и поскрипывая протезом среди криков и шепота взволнованных и любопытных людей. Будто убеждая того, кто скрывается в сером пасмурном небе, пытаясь смягчить наказание вахтенному помощнику, одноногий моряк выкрикивал громче и громче. О том, что в море отсутствует сила трения, там все движется неукротимо и безудержно, все бултыхается и подпрыгивает среди ветра и волн. Размахивая рукой, одноногий моряк сварливо доказывал, что любой корабль летит по морю, как по маслу: без зазубрин и без препятствий. Если уж вышло, что случайности сумели сложиться и злосчастные просчеты выстроились в ряд, почти невозможно дать задний ход, развернуть корабль, когда он настырно, на полном ходу несется в бок другому. Бывали случаи, когда крушения удавалось избежать, вмешавшись в последний момент. Такое происходит крайне редко. К тому же многое в море, как и на суше, свершается по судьбе, вмешиваться в таких случаях бессмысленно, пытаться изменить – невозможно, ведь все кораблекрушения предначертаны, неминуемы и происходят независимо от нас. Одноногий моряк еще долго что-то выкрикивал, но никто его не слушал. Все толкались и переговаривались, наблюдая приближение к берегу по свинцовой насуспенной глади двух спасательных катеров. Небо над городком и над бухтой тягостно клубилось. И ледяной сварливый ветер уносил тревожные выкрики одноногого моряка и вздохи собравшихся на набережной на самую середину моря.

Весь конец той черной весны в городок приезжали бригады водолазов. Ближе к лету навывались следственные комиссии из столицы, репортеры, родственники погибших, съемочные группы. За это время сверкающие слезинки Богородицы высохли, плач икон прекратился. Но те, кто связывал их появление с трещиной в стене церкви, с близостью старинного здания к реке и обилием снега последних зим, все равно усмотрели в случившемся лишь трагическое совпадение, необъяснимую и горестную поэзию, рифмы которой складываются на наших глазах, законы и правила которой никому прояснить не под силу. А хромая старуха-соседка убежденно шептала капитану, что лучше и не надо ничего прояснять и ничего понимать в таких вот трагических совпадениях.

Возле приморских вилл, столетних особняков и парка, гигантские сосны которого расчесывают распластанные над городком облака, в годы молодости капитана с каждым днем все сильнее тянулся от дороги к пустырю заколоченный костел. Когда молиться запретили, а бога изгнали из страны, опустевшее здание приспособили под склад керамики. С тех пор в сумрачной зале с ветвистым эхом несколько лавок и мастерских городка хранили садовую плитку, изразцы для печей, цветочные горшки и недолговечные глиняные сервизы с кофейными чашечками на два глотка.

На некоторое время в холле костела приютился цветочный магазин. В полумраке пятиконечной прихожей кадки с цветами беспорядком шахматных фигур громоздились на сером мраморе пола. Среди обычных плит под днищами кадок таились отполированные подошвами могильные камни со стершимися цифрами дат и готическими буквами имен. Возможно, мертвые принимали магазинные цветы за особые знаки внимания и памяти. Поговаривали, что именно поэтому цветы из костела так долго оставались свежими, спокойно могли простоять в вазе неделю и две – особенно белые лилии.

Весной здесь продавали растрепанные ветки мимозы и тусклые тюльпаны – для кратковременной апрельской влюбленности. Осенью бойко торговали георгинами и гладиолусами для школьных и поминальных букетов. Ближе к зиме отлично шли рождественские венки для украшения входных дверей. Капитан однажды приходил в костел за цветами для Лиды. Долго выбирал, купил семь чайных роз, замер с букетом в руке посреди полутемной прихожей. Сквозь разноцветные стекла витража в сумрак проникали синие, алые и изумрудные лучи, рассыпавшиеся на войлочные цветные пряди. Капитан подумал, что витраж похож на детский калейдоскоп из крошечных пестрых осколков, которые случайно выстраиваются в соцветия и узоры, создавая иллюзию порядка, обнадеживая и окрыляя. Но потом он все равно запрокинул голову к сводчатому потолку и на несколько секунд совсем забылся в благоговейном головокружении.

Хоровод цветов оборвался неожиданно – в магазине вспыхнул пожар. Следствие объяснило возгорание неисправностью проводки. Здание сочли непригодным, к дверям крест-накрест приколотили несколько серых досок от ящиков с фруктами, окна забили фанерными щитами. С тех пор костел без дела ошивался возле пустыря, населенный шумной семьей ежей и плаксивым привидением Зоей, безутешной барышней ста двадцати с лишним лет.

В небольшой полутемной нише костела до сих пор сохранилась медная табличка с надписью: «24 марта 1908 года». В тот день с самого утра море было задумчивым, ничего особенного не замышляло, только поживилось, пристально и любовно вглядываясь в небо. Моросил мелкий дождь, на который никто не обращал внимания, потому что сизая морось той весной постоянно осыпалась на стекла, плечи и шляпки.

Судя по сохранившимся фотографиям и пожелтевшим открыткам, облик городка в те времена мало отличался от нынешнего. Тот же черепичный профиль крыш, слегка потемневших за век, будто лицо старика, с годами ставшее бурым. В переулках добродушно жались друг к другу сгорбленные деревянные домики с распахнутыми ставнями, сквозь мутные стекла угадывалась кружевная штора, фарфоровая статуэтка пуделя, стопка увесистых томов. Пропахшие сыростью рыбацкие бараки таились в предвкушении летнего оживления, предрождественской суеты. Городок и тогда был притихшим в ожидании решающего, рокового, которое произойдет совсем скоро, со дня на день. Время и тогда текло здесь иначе, чем во всем остальном мире. Некоторые молчаливые незнакомцы и в те времена возвращались в городок, чтобы остановиться по пути к морю возле какой-нибудь заколоченной до лета виллы. Отдышаться, наконец сверить часы и решить, надо ли замедлить или ускорить свои дни и свои дела. Некоторые задумчивые люди уже тогда наведывались в городок из далеких столиц, каждые два или

три года возвращались сюда, чтобы вдохнуть раннее утро с ароматами кофе, корицы, угля, шторма, подгнивших водорослей, мокрого песка, чтобы надышаться сумерками с запахами ветоши, темного тлена, продрогших дворовых псов, заколоченных пакгаузов и заброшенных особняков с выбитыми стеклами. Многие приезжали в городок снова и снова, чтобы запрокинуть голову на крики и стоны скользящих над крышами чаек, совпасть дыханием и пульсом с птицей, когда она зависает в воздушных потоках, широко распахнув крылья. Говорят, всякий, кому такое хоть раз удавалось, вновь обретал спокойствие, возвращался в себя после долгих скитаний и окончательно исцелялся от прошлого.

В городке и тогда бессовестно хозяйничала свора шальных и задиристых ветров. К осени они становились грубыми, хватали под локти стариков, гнали гуляющих вдоль реки, пинали школьников в спины, а иных замечтавшихся прохожих прохватывали насквозь, почти вышибая дух. Зимой обозленные, растопырившие чешую ветра срывали шапки и капоры, кусали за уши, осыпали пригоршнями рассыпчатого колючего снега, холодили до слез.

Невысокие особнячки центральных улиц провожали проезжающие мимо повозки мутными взорами занавешенных окон. Площадь ратуши изредка пересекала неторопливая старушка с корзиной, стайка болтающих без умолку школьниц, худощавый паренек с громоздким футляром тромбона. Продрогший учитель гимназии бежал мимо церкви и ратуши, придерживая шляпу, на ходу торопливо отворачиваясь от назойливых объятий ветра. Рыночная площадь и тогда шумела в окружении запертых до лета харчевен и заколоченных деревянных лачуг, окутанная запахом копченой скумбрии, малосольных огурцов, кровяной колбасы. По субботам на ее торжествующие ароматы, на музыку и гогот большого рынка стекались оживленные жители окрестных домов и окраинных улочек. Так же, как и сейчас. С неторопливыми изменениями, которые растворялись в обосновавшейся здесь приморской вечности.

Когда лихорадка отпускала, капитан думал о Зое. Предполагая, что знает далеко не все в ее истории, сопоставлял факты, пытался проследить штрихи случайностей, сложившихся в росчерк судьбы – это помогало отвлечься от нависшей над ним неизвестности. Он знал, что в 1908 году на дальнем северном берегу моря невесомая белотелая Зоя со светло-русыми локонами наконец стала невестой. Она была упрямой и все-таки дождалась своего заветного дня. Она безошибочно почувствовала, что ее час настал. И не растерялась. А напротив – стала молчаливой и плавной, как тонкая линия черной туши. Она отводила глаза, по-балетному тянула мысок и весь свой заветный час казалась со стороны и была на самом деле хрупкой, ломкой, совсем беззащитной. А еще – безбрежно одинокой. Зоя сумела не спугнуть свое счастье, смогла приглянуться и растревожить, поэтому очень скоро она стала единственной. Обожание приездного коммивояжера с глазами цвета пасмурного октябрьского неба окутало рассеянную и пугливую Зою неуловимым сиреневым сиянием. Безбрежное обожание случайного человека сделало ее притягательной и неотразимой. С тех пор Зоя светилась. Зоя невесомым лепестком вишни кружилась в вальсе. Зоя пела от долгожданной сбывшейся любви. От нее теперь немного пахло анисом. Даже гнусавая тетка, удочерившая трехлетнюю сироту и с тех пор вечно требовавшая экономить хлеб, свечи и нитки, оказалась не в силах вмешаться и все испортить. Крупные серые чайки сидели рядом на коньке крыши тесного теткиного дома, потом переносились вслед за Зоей и сидели рядом на коньке крыши шляпной мастерской, будто намекая, что сейчас над этой меланхоличной девушкой время не властно, ведь сегодня с ней свершается любовная вечность. Кратковременная, зыбкая, небезопасная для будущего, но такая желанная всеми и всюду.

Терпеливо дожидаясь письма, Зоя, как всегда, старательно шила шляпки, украшала их тесьмой и бусинами, тихонько напевая себе под нос: «Я назову твоим именем ураган». Получив послание от жениха, трижды подтверждавшее серьезность его намерений, Зоя целый день

была задумчивой, а потом еще три дня скорбно молчала. Она умышленно нагоняла на себя грусть, хмурилась и несколько раз даже всплакнула, чтобы немного уравновесить свои радости и печали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.